

АЛЕКСАНДР К. ИВАНОВ

С подлинным верно...

АЛЕКСАНДР К. ИВАНОВ

С подлинным
верно



Александр С. Иванов



С ПОДЛИННЫМ
ВЕРНО



Биографическая проза Малырова

Николаев
«Илион»
2011

УДК 821.161.2=161.1
ББК 84-4
И 20

Про зірок естради говорять широко, про людей достатку – непомірно! І все про столичних осіб. Професор і письменник О. К. Іванов написав про земляка й колегу, про людину з неширокою популярністю й малим достатком. Розповів незвичайну, справжню правду; наповнив книгу уривками прози й драми свого персонажа. Вийшло гостро й цікаво. Читается із захватом і з користю.

Іванов А. К.

И 20 С подлинным верно. Биографическая проза Малярова / Александр Кузьмич Иванов. — Николаев : Илион, 2011. — 228 с.

ISBN 978-617-

О звездах эстрады говорят широко, о людях достатка – непомерно! И все о столичных особах. Профессор и писатель А. К. Иванов написал о земляке и коллеге, о человеке с неширокой известностью и малым достатком. Рассказал необычную, впрямь подлинную правду; снабдил книгу отрывками прозы и драмы своего персонажа. Получилось остро и занимательно. Читается увлеченно и с пользой.

УДК 821.161.2=161.1
ББК 84-4

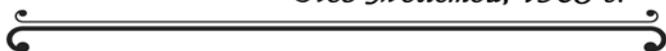
ISBN 978-617-

© Иванов А. К., 2011



*Писатели, если они будут,
будут не сочинять,
а только рассказывать
то значительное или
интересное, что им случилось
наблюдать в жизни.*

Лев Толстой, 1905 г.



– Ты все осмеиваешь?

– Это чтобы не все оплакивать.

На этих двух репликах можно было бы и закончить рассказ о старом писателе Анатолии Малярове. Но я не могу. Слишком много времени и стараний я потратил, собирая творческое досье на этого давнего моего приятеля. Перечитал два десятка его книжек, смотрел на сцене и слушал по радио его большие и малые пьесы. Самое же изобретательное – это тайная запись по методу пресловутого майора Мельниченко.

Старик Андреич часто заходил ко мне в свободное время, и всегда с новыми городскими сплетнями. Читатели Малярова знают, что наш мастер пера к сплетням относится благожелательно. Так же, как и его большие предшественники. Генри Джеймс: «Только из сплетен кое-что узнаешь о человеке». А еще раньше Стендаль: «То, что дураки окрестили сплетней, в наш век притворства является единственным средством узнать свой мир».

А еще Маляров смолоду и до старости собирает материал для своей прозы и драмы только с первых рук. Тут он доверяет Федерико Феллини: «Единственное достоверное свидетельство, на которое имеет право человек, это свидетельство о себе самом».

Так вот, я подзадоривал, а мой коллега увлекался и катил на меня в моем рабочем кабинете свои устные рассказы. Многие из них со временем вынашивались им и выписывались в литературу малой и средней формы.

А я, ничтоже сумняшеся, держал под столешницей диктофон и собирал материал о писателе и его творческих потугах. А также биографические сведения, часто весьма нелицеприятные, то есть такие, какие старик мог раскрыть только перед другом. И только друг имеет право откровенно прокомментировать фрагменты из жизни и творчества

самого искреннего и безжалостного к себе писателя нашего края. Маляров даже выработал литературный прием: пишет от первого лица, чтобы поносить и развенчать это первое лицо, – пусть люди плохо думают об авторе. А уж люди из людей (так он называет простолюдин) – обыватели (в его прочтении – земляки, сограждане) выступают у него живыми. Их можно вживую увидеть, выслушать, потрогать осязательно и понять.

Итак, посмеемся и всплакнем вместе с автором и его персонажами.

1

После Малярова не останется архивов – старый мастер не считает себя достойным долгой памяти. Впрочем, великий Чехов тоже не рассчитывал на память людей дольше двадцати лет после его смерти.

Дневниковые записи Малярова состоят из кратких, незаношенных фраз, прицельных словечек, задумок будущих былей и ударных реплик для прозы и драматургии. В последние годы он писал столь корявым и невнятным почерком, что пару дней спустя сам был не горазд прочесть.

Вот нечто, похожее на афоризмы:

- *Украинцы – неукротимые оптимисты: 74 процента опрошенных уверены, что две трети бюджета разворывается.*
- *Кошмар – это реальность в чистом виде.*
- *Судьба – это стечение неудобных обстоятельств.*
- *Люди видят похожие сны, но каждый в свою ночь.*
- *Чтобы осчастливить человека, надо отнять у него все, а потом – вдруг – дать ему немного.*
- *Любимая женщина – не объект, но калейдоскоп из виденных, вымышленных, близких прежде дочерей Адама.*

- *То не одиночество, когда тебе некому поплакаться, одиночество – когда никто не плачется тебе.*
- *Человече, открой мне свои заблуждения, и я скажу, кто ты.*
- *Взятки берут пескари, акулы платят услугой за еще большую услугу.*
- *Трудно было Богу в часы творения: он мог все и никто не мог ограничить его.*
- *Невинный поступок можно совершить, только погрязнув в еще большей вине.*
- *Ложь не криминал, если она чиста и человечна.*
- *Одна мысль – это хорошо, но две и три вместе – это уже комплекс.*
- *Один дурак – просто дурак, много дураков – это уже менталитет.*
- *Жизнь набело – счастье, жизнь во втором чтении – глупость.*
- *Любовь хороша выдумкой, правда – скучна.*
- *Бог ошибся лишь однажды – сотворив человека.*
- *Биография – это не то, что ты прожил, а то, что ты о себе выдумал.*
- *Политика – это не то, что требует мысли, а то, что исключает совесть.*
- *Есть жрецы, а есть обжоры. Именно последние определяют наш путь.*
- *Живу я плохо, потому – пишу: может, в памяти людей я проживу лучше.*
- *Источник подлинной прозы – наши лучшие заблуждения.*
- *Сколько стран – столько же и законов, сколько людей – столько же и беззакония.*
- *Вначале было слово. А что будет в конце?*
- *Только задним числом жизнь кажется осмысленной.*

- О жизни можно говорить только шутя, по большому счету о ней никто ничего не знает.
- Счастлив тот, кто способен отрешиться от прежних грехов и не вспоминать о них!

(«Кондуит»)

Можно выбирать фразы у писателя еще, однако сказанного достаточно.

Чтобы написать о Малярове, повторюсь, пришлось не раз прочесть почти два десятка его книг, посмотреть в разных театрах те пять из десяти его пьес, что прорвались на подмостки, и прослушать те, что звучали по столичному и областному радио, как и десятки его коротких рассказов, написанных чисто для звучания. Да, еще перевернуть подшивки журналов и газет у нас и в столице, выслушать толки и пересуды знавших его людей.

Общеизвестно, что и в писаниях и в отношениях с людьми он неподражаемо откровенен и безжалостен к собственной персоне. Парадоксы конвоируют литератора с Третьей Слободской улицы от колыбели до погоста, и в каждом случае в судьбу его корчеватой кистью вмешивается держава и ее легаты.

Биограф не установит, когда он родился. В метрической записи – 22 апреля 1933 года, в паспорте – 9 марта, а языческий бог первого крика услышал его квелый голосок 21 апреля того же тридцать третьего. И вот объяснение. В голодающем поселке машинно-тракторной станции юная мать Мария рожала в деревянной хижине одна: супруг служил в доблестной армии за тридевять земель. Только в тот день в Украине от голодного истощения умерло более двадцати шести тысяч человек, потому партия была заинтересована в демографической компенсации. Регистрировать младенца власти требовали в первый же, в худшем случае – на второй, день по рождению – статистика! В немецкую колонию с конторой украинского сельсовета обессиленные

соседки на горбу приволокли будущего классика лишь на третий день, потому председатель герр Пруль записал его вчерашним, 22 апреля. И гордо добавил:

– Фрау радил в айн таге, как геноссе Лэнин!

«9 марта» попало в паспорт двадцать пять лет спустя. Ночью комендантшу общежития театрального института в Киеве долго бил по голове ее пьяный супруг. Наутро дама меняла паспорта созревшим выпускникам театрального вуза. Сидела с мокрой тряпкой на глазах и сослепу вписала Малярову чужие данные...

С первых дней жизни Тосика его матери нечего было пожевать в тряпочку, и тощая Мария предлагала сыночку свою грудь, похожую на застиранную тряпочку, чтобы имитацией кормления унять слезы младенца, и свои тоже. Думается, это было начало его творческой сублимации. Малыш, а потом подросток, далее мужчина и писатель – весьма удачно подменял реальную жизнь душевными и умственными слепками бытия. Воображение спасало его от голода, материальных лишений и недостатка любви.

В два с половиной годика Тосик уже сам подходил к сидящей на завалинке маме, цепкими ручками доставал из-за ее пазухи сиську и полдничал. Как-то за штaketником шли мешочницы, спросили:

– Жинко добра, а сколько верст до станции?

Мать не расслышала, а сын оторвался от соска и крикнул:

– Семь вегст! – Картавил и уписывался классик до семи лет.

Что застал малец в этом мире, то и принял как данность. Хаты под стрехой и копны во дворах; поношенные фуфайки с плеча и галифе с ягодиц взрослых; апатичную и обозленную речь:

– Лежишь, зад откинул! – Это бригадир про обессиленного и голодного пахаря, упавшего в тень передохнуть.

– На место! Повернись, чтоб ты издохла! – Это скотник про сведенную в колхоз некогда приватную корову.

– Кто тебе сказал про прибавку к трудодню? Иван? Так Иван же коммунист, а коммунисты все брехуны и бляди! – Это глухой мужик про активиста, да еще своего младшего брата.

Львиная доля понятий укладывалась в голову Тосика к трем-пяти годам поразительно, то есть вызывала острый отзыв в душе, оснащалась острыми ассоциациями, которых не должно быть у человечка в начальном возрасте.

Непонятное рождало страхи, про них хотелось спросить у матери, но странная заноза в генах оснастила малыша шляхетским гонором. Дед по матери был чешским дворянином, еще при царе управляющим тремя именьями с кошарами и многотысячной отарой овец... за что и был расстрелян большевиками. Вся его родня разбежалась по Малороссии, приспособилась к новому порядку, даже поменяла фамилии. Вначале с чешско-немецкой Корн на чисто моравскую Корек, а позже целиком на идиотскую – Корен. Думали, получится русская, а вышла английская...

Жизнь Малярова похожа на наше Дикое поле: со склона и на склон. Отец его вернулся из армии и так приложил свой технический талант к трактору и комбайну, что два года кряду устанавливал рекорды на всю страну по сбору зерна сцепкой из двух комбайнов «Сталинец». Его расписали в московской «Правде», возили по выставкам, выдвинули в ударники. Сам дедушка Калинин, тусоватый и малограмотный всесоюзный староста, вручил ему высший орден. Соответственно – дали большую квартиру в центре агрогородка, зарплату, и все, что привозили в магазин, – герюю вне очереди. А уже сам Андрей отыскал своего отца, беглого кулака, потом мать супруги, вдову чешского дворянина, и зажил Тосик барчуком. А еще год спустя – стал сыном директора машинно-тракторной станции, но в другом селе, в Мариновке.

Огромная деревня пересыхала без садов, без реки, то есть пунктирные лужи Бакшалы еще напоминали давнее турецкое владение, но состояли из черного ила выше колен и сверху на две четверти мутной воды. Там и марались дети рядом с бычками и чушками. Ни Дома культуры, ни церкви, ни... ни...

Возможно, благодаря таким лишениям оборванцы во всех четырех колхозах села были изумительно талантливы: фольклором, обычаями, выходками, тайной ненавистью к властям, – циники по жизни. И проклятия и юмор незаданные, чисто Мариновские.

2

На неокрепшую психику надвигалась темная туча. Старшие только и шептались, что об уводах по ночам совершенно невинных людей. Утром в опустевших хижинах соседи находили битую посуду, мокрые трусики, кровь от пятерни на дверях. Недосчитаются то аптекаря, то замполита из машинно-тракторной станции, где отец Толика служил директором. Забирали за то, что еврей, за неосторожное слово про вождя, а чаще всего люди не могли объяснить, за что. Пацаны доносили, что где-то есть мельница, большая – до неба, и туда нужны человеческие кости, чтобы перемолоть на муку и кормить народ.

Подростки заразились беспокойством. Даже стали играть в застенки. В неполные восемь лет моему герою пришлось пережить взрослый стресс, тайный страх укоренился в душе навсегда и породил неприятие сути бытия.

Тринадцатилетний заводила с его околотка, Исаак Лозинский, поставил его на часах у лестницы, ведущей на чердак. Сам ушел и забыл про пост номер один. Пацан захотел по-маленькому и покинул дежурство. Под вечер Исаак вспомнил о «солдате», отыскал и пригрозил:

– Чтобы это было в последний раз. Шпионы кругом шляются, а ты!..

На другой день подростки уговорили соседскую девчурку показать им, что там у нее между бледных ножек, увели в сарай, а Толика поставили «на шухере», взяв честное ленинское, что он не сойдет с места. Но характер у малого с пеленок любознательный. Улучив минуту, он побежал в очередь у двери сарая: покажите и мне. В эту минуту тетя Исаака, Мэца, с палкой в руке, блюдя нравственность, ринулась на толпу подростков. Старшие выпрыгнули из окна, женщина погналась за племянником с воплями:

– Исаак, тебе только и жить, пока я тебя не догоню!

Надругательство началось со следующего утра. Исаак встал на дорожке к туалету, подождал Толика и сочувственно, на горьком глазу заговорил:

– Шибздик, ты зачем изменяешь Родине? Ай-яй-яй. Уже скоро восемь лет, да нет, полные восемь! Придется отвечать. Ночью за тобой придут.

Удар под дых, мальчишка онемел от ужаса. А дружок ловко нагнетал его:

– Я и рад бы помочь, да тут не моя воля... Нам вообще не надо встречаться, из-за тебя и мне каюк...

Откуда-то в голову Толика втемяшилось, что державная сила – таинственна, что коли она мытарит, следует молчать – хуже будет. Он забился в дальний чулан, присел в уголок и прислушивался к миру через стены. Чешка бабка Катерина зашла за веником и выкурила его на улицу:

– Жмурки затеяли? На двор!

Спать в своей кровати он не мог, власть легко найдет преступника. Дождавшись, когда дом утомился, он тихом прошел на кухню и залез под печь, под штандары, как говорила баба Катерина. Зарылся в семечки подсолнуха и задвинул заслонку. Черно, пахнет пылью, зато надежно. Так и заснул.

Утром приспичило – выскочил черным ходом за стог. Стоит Исаак, понурый, со сведенными скулами, таращит глаза не без удивления:

– Шибздик? Ты на свободе?

Оба озирались, чувствовали родственную приязнь друг к другу. Исаак ведет, Толик следует за ним, идут куда-то, хотя с места не двинулись. Мерзавец вздыхает, сочувственно и с надеждой:

– Знаешь, шибздик, тебя не взяли и не возьмут. – Позволив на кончике спички загореться надежде, заводила продолжил: – Как эти твои цыплячьи лапки защищать дверь? И раскаленную скобу некуда вогнать – жопа у тебя с мышиный глазок. Возьмут твоего отца.

Преступника передергивает, он вскидывается, задыхается: отца? Такого порядочного, видного, директора и коммуниста?

– Полковников берут, – как бы слыша чужие мысли, бормочет Исаак. – Нет начальника без грешков. Да, твой не крадет, да, твой с утра до ночи в поле... Там и возьмут.

Толик почти помешался. Ходил за отцом по пятам, дурковато хихикал на его редкое поглаживание по голове и советы сходить домой поесть. Все напрашивался в поездку с ним по тракторным бригадам. Бился и маялся, не зная, можно ли предупредить отца...

Вечерами не ложился, пока не помогал ему снять одежду и помыться. Готовился броситься на всякого, кто поднимет на него ружье. Бабушка и мама восхищались привязанностью сына к родителю. Вот, мол, растет смена, когда тот совсем состарится. Ни отец Малярова, ни он, никто, кроме деда-чеха, которого он не знал, не попал под политическую статью, власти никогда не касались семьи своими юридическими и чиновными щупальцами. Опыт изощренных издевательств для подростка, потом молодого и зрелого человека был умозрительный, многие факты и следствия он домысливал, и это взрастило и усилило его творческое воображение.

...В детстве пугали меня и волками, и «тем светом», голод и войну я сам испытал. Те страхи прошли, они как-то случались, я видел их и понимал. А этот, «политический», как нутряная болезнь, рак, его не видно, понять не дано, конца ему нет... Этот угнездился в мое существо на всю жизнь.

Вместе со страхом ко мне пришло некое представление о мире, о той малости, что необходимо, чтобы жить с людьми, и о том, что излишне, опасно. Скажем, мама, корова, лошадь, шлепок по заднице, хаты под соломой и черепицей, дерево, навоз, заиленная речка... и еще многое из того, что я застал на этом свете с первым проблеском сознания. То, что признавал мой русский православный дед, бежавший от раскулачивания и изо всех сил старавшийся казаться ленивым, резвым на слово, глуповатым, хотя ему это все давалось плохо.

Дед учил меня осуждать траншеи в черноземе, содранный гумус ради добычи руды, сброшенный в реку шлак, дымящие машины, мусорную свалку в чистом поле, высокие дома с тонкими стенами, теряющие тепло зимой... бояться неверующих, сквернословов, лентяев – от них все зло в мире. Лишняя техника высвобождает людей для плохих раздумий, для шалостей, и город в том – большое подспорье...

(«Детские страхи»)

С фронте написано много, достаточно книг о тыле, а вот о том, что было между боем и покоем, – лучше всех рассказал Маляров. Бездонной памятью девятилетнего малыша и голым нервом впечатлительной натуры он сберег для людей историю беженцев. Да с забавной точки зрения, от мальчугана, который сильно обрадовался войне и эвакуации, возможности ехать в арбе, запряженной тройкой изношенных кляч, – «в глубь страны».

Три предвоенных года, пользуясь положением хозяина двадцати двух сел, которые обслуживала техника МТС,

отец Малярова хоть и не воровал, но содержал семью в достатке. Привыкшая до большевистского переворота к роскоши, бабушка Катерина ограждала любимого Толика от «холопской черни», а тут его бросили с борта да в море, потому что паника царила кромешная.

Параллельно обозу беженцев бежали припыленные и запуганные колонны нашей пехоты. С неба по три раза на дню пикировали немецкие самолеты, днем по ним палили зенитки, султанчики взрывов окружали их, но почему-то редко попадали в цель. В бадейке, притороченной к задку арбы, болталось молоко и взбивалось в масло. В глубине степи шел смешанный гурт: коровы, лошади, даже овцы и козы.

В Мариновке Толик знал понятие «конь». Тут оказалось, что пушки тащили ардены, командир удирал на донском скакуне, бричку уполномоченного по эвакуации тащили два орловских рысака. Семья Толика (разумеется, без отца, мобилизованного в первый день войны) ехала на арбе, а рядом шли мажары, каруцы, линейки, бестарки, шарабаны. И еще арбы, но не о четырех, а о двух колесах, а перед пушками – лафеты. Множество новых названий, которые мужчины почему-то выговаривали с приложением мата. Все люди раздражены и не любят никого и ничего. С неба пугали беженцев не просто самолеты, но «рамы», «мессершмиттты», «юнкерсы», «фокевульфы». На засаленных воротниках командиров алели треугольники, кубики, шпалы. Все это что-то означало и имело свои названия и звания. Оказывается, что может быть так в жизни: целый световой день надо бежать от «фрица», и нет времени вырыть печку в грунте и сварить кашу – то есть надо терпеть голод. Снова голод, как в тридцать третьем.

Мальчишка остро и с опаской прислушивался к странным разговорам скотников, сопровождавших стада, евреев, бежавших, потому что их искореняли фашисты, бабушек, свидетельствовавших, что они едут в чужие края умирать.

Присматривался к подросткам, заглядывающим под юбки сверстниц на высокой арбе и под хвосты кобылиц в табуне. Много вписывал пацан на чистый лист своей ненасытной памяти.

– Куме, сколько верст до той «глуби страны»?

– Ежели для начальства, которое на полutorке с резиновым ходом, то тысяча. А в нашем случае, пешком да за быдлом, то и в две тысячи не уберешь.

– Хорошо жить быком, а не коровой.

– Что так, землячок?

– Бык каждый день прыгает на свежую матку, а корова раз в году получает пистон, а потом вынашивает, кормит, а ее все дергают за вымя.

Мальчуган замечал много странностей: лошади справляли большую нужду на ходу, а для малой непременно останавливались, женщина-парторг, которой доверяли делить между семьями утренний удой, всякий раз заговаривалась и в свой бидончик вливала лишний литр молока. Молодые жеребчики преследовали юных кобылок. Те брыкались и разбивали в кровь их губы. Что-то могучее, нутряное, вело самца к самке, наверное, так и у людей.

И потрясение души! Оказывается, немцы умеют писать по-русски и сбрасывать с самолетов листовки, из которых резво читающий Толик понимал, что лучше бы беженцам не покидать своих сел, их не тронут и даже на трудодень будут платить больше. Оказывается, наши солдаты, такие смелые в кино, в песнях и стихах о них, смотрятся тощими, запуганными и по ночам воруют у беженцев упряжных лошадей, садятся на них «наохляб» и бегут в тыл. Бабы и старики из обоза хватают их за полы:

– Родненькие, мы же без тягла пропадем в голой степи! Внучата с нами... пожалейте!..

Первые злые наблюдения и первые осмысливания.

Там, где пролегал ужас, бытовала и красота. О внешнем колорите и новизне ее говорили ночные пейзажи над ленивым Бугом, потустороннее пение местных девочек, похожих на ангелов в зарослях виноградников. Мечущиеся стада, когда смешивались свои и чужие, сочный, неслыханный мат дерущихся при разводе поголовья селян. Поражал выпрыгнувший из воды голый всадник на сияющем коне, при луне за случайной копной обмывающаяся молодая женщина, загадочная и зовущая.

Совсем удивлял мохнатый пес Каптан, который всегда увязывался за телегой, которую в ближайшую бомбежку разнесло в щепки. И объяснение хромого учителя:

– Немцы мирных людей не бомбят. Это когда солдаты с шоссе бегут в поле и прячутся с оружием между беженцами, «фрицы» вынуждены бить и по нас.

Жутко и кощунственно. Странно, но Толик не верил в свою смерть. Если в него попадут и он уснет навсегда, кто же тогда сможет видеть и слышать все, чем живет земля? Для кого будет на ней все происходить?

Душевная красота жила в отношениях забитых, впадающих в детство стариков к коровенкам и лошадкам. И не только стариков... Говорят, человек отличается от животного тем, что у последних нет души. Толик наблюдал, а сорок лет спустя маэстро Маляров вывел: есть душа и в тех и в других, только, по зрелому его мнению, душа обитает у избранных.

Великий Феллини, как уже упоминалось, утверждал, что достоверным свидетельством может быть только свидетельство человека о самом себе. Маляров убеждает, что его показания о других, ему подобных, существах – достоверны. Вот короткая быль о двух чистых душах: о еврее Мойше и его сером меринке Суре.

...Равнина и полынь, старое серебро разлито от колеса арбы до торопливого марева на горизонте – бежит, бежит стадом овец, успеть бы до захода солнца.

А по впалому проселку взбивает пыль рогатая орда – стельные и яловые буренки, годовалые бычки, усталый и потому безразличный к загулявшим подругам племенной бык Лысый, – все почему-то теснятся к оси дороги, им чудится, что зрелая, шелковистая полынь стоит по бокам колыями загона.

Следом за стадом напирают на отстающих телушек и останавливаются, переступают с ноги на ногу упряжки коней, карих, гнедых, серых, пятнистых от сухого пота, расписанных следами кнута по крупам. В телегах – пары, в арбах – с пристяжными. У еврея Мойши – одинокий кургузый серый, словно застиранный, меринок, неказистый, по-собачьи умный и не знающий плети, даже злого слова не слышавший.

Из болотистого брода на холм пары и тройки вытаскивают свои телеги в два, а то и в три приема, задерживаются, прядают ушами от сильных окриков и горячих хлыстов, приседают, стонут. Этот же замарашка приостановится в самом низу, сделает раскачивающиеся движения влево и вправо, поставит свои крохотные копытца торчком, сгруппируется и в один прием – топает-топает – и вывозит из любой грязи большую фуру о двух колесах с матрацами и кастрюлями, с толстой еврейкой наверху и двумя вечно настороженными девчонками.

Реб Мойша никогда не сидит на облучке, вечно шагает рядом в порыжевшей кацавейке и задубелых штанах с тяжелой длиннющей мотней, исподлобья посматривает то на обозников, то на единственное Богом дарованное ему тягло. Качает своей маленькой головкой с сидящими пейзами, говорит, как бы укоряя, втайне – восхищаясь и привлекая внимание других погонщиков: «Сура, шо ты надрываешься? Тебе больше всех надо?»

Пока люди верили и не верили, что табун и стадо живы и здоровы, обоз беженцев двигался трусцой и так уже достиг Варваровки, деревни по правую руку лимана, сухой, прибитой пылью и затворившейся в глухих хатках. И не напрасно: на узкой, разбитой и единственной ее дороге и по обе обочины сгрудилось столько лафетов с пушками, танков, грузовиков, еще больше арб, телег, одесских бендюгов, линеек, молдавских каруц, бричек и еще черт знает чего на колесах и гусеницах. Столпилось, растрясло сено-солому, ошурки, навалило кизяка, разлило мочу, мазут, бензин. Растянулось на три километра вдоль и от хат до хат поперек и сужалось, словно в воронку, к жалкому бревенчатому понтону через лиман. Всем надо на ту сторону, в Николаев, и дальше от линии фронта.

Рокот моторов, галдеж и мат стояли канонадным гулом, даже слух уже не задевали. Военные оттесняли беженцев, качая свою правду, а гражданские мужики крепче прятались за спины баб и непризывных, чтобы их впопыхах не мобилизовали; вперед выходили старики и женщины. Калеки выставляли свои культяпые руки-ноги, бабы картинно выли и дергали малышей перед очумелыми командирами, дети перепуганно орали под руками и на возах.

Каждому хотелось быть ущербным и жалким – в том было достоинство.

– Нам надо бежать, наш муж коммунист и на фронте!

– Мы евреи, нас первыми Гитлер расстреляет!

– Рогатое стадо мы спасаем для бойцов... оно уже на той стороне! А мы тут!

Странно, я с увлечением смотрел на это вавилонское столпотворение, ведь я знал, что меня все равно переправят, я никогда не умру, общее бешенство меня не коснется... И был потрясен крохотным, никем особенно не замеченным, никогда потом в истории не описанным, не достойным даже маленького рассказа случаем.

Все так же бабы цеплялись за уздечки, малыши впивались в подошвы, квелые и подтопанные мужики, излишне налегая на хромую ногу, выставляя культяпку (один свистел в трубку на горле после раковой операции, умышленно не затыкая ее при выкриках), – все пятились за телеги, подавали голоса издали, авось военные товарищи сжалятся над детками да пропустят. Пропыленные-просоленные пилотки, сбитые набок скатки шинелей, торчащие во все стороны карабины, кубики, шпалы в грязных петлицах – все они были наши и вроде бы не наши. Сильный оттирал слабого, старший – младшего, военный – мирного. Длинный, сутулый командир с одной шпалой и весь в портупях низким надсадным голосом над головами объявил:

– Беженцы сворачивают вправо! Ночью у Дедовой хаты будет наведен «Понтонный мост-два», там все чин-чином и переправитесь!

В ответ на его слова очередь притихла, но с места не двинулась, разом переваривала мудрость властей.

– Что же вы? Была команда.

Со страху люди осмелели:

– Своим командуй, а мы ночь и день ползли эти три километра к воде! Переправляйтесь вы ночью, а мы уже у «Понтона-один!»

Сутулый командир уже избрал себе жертву послабее и скомандовал троим сопровождавшим его рядовым:

– Этого серо-буро-малинового сбивай в кювет!

Серо-буро-малиновым был одинокий меринок Сура, который только что, единственный из увязших в размытом недавним ливнем кювете, топал-топал и вытащил двухколесную арбу реба Мойши, потом, по своему лошадиному соображению, шел за ближними телегами, теснился бочком-бочком – и хорошенько влип в очередь. Пожилой усатый солдат видел непосильные труды и старания жеребчика, был пронут повадками и силой малыша, тихо заговорил:

– Товарищ ротный, может, уже со следующего начнем?

Сутулый стеклянно зыркнул на пожилого и зло гаркнул:

– С этого! Ты что, не видишь, это же мелкий частник!

И сам решительно ухватился за уздечку. Сура этот человек показался чужим, конек уперся всеми четырьмя копытами, отвел голову назад, сипло захрапел. Тезка его, белотелая еврейка на верху арбы, распластала руки над девчурками и немо, дико водила глазами по обозу, по землякам, поднимала взгляд горе, наперед зная, что никто ей не поможет, разве что ее Иегова.

Реб Мойша стоял на обочине с опущенными руками и мелко дрожал. Озверевший начальник, переморенный, тощий и неуверенный, не в силах справиться с упрямым меринком, сжал свою правую в кулак и со всего размаха взрезал Суру по сопатке. По нежной, бархатистой верхней губе, по частым конопушкам. Меринок остолбенел. Из ноздри поползла липкая красная и соленая пиявка, глаза лошади стали человеческими. Сура не знал, что такое кнут, не слышал грубого слова, маленькую мордочку его только гладили... Он понурился, собрался со своими лошадиными душевными силами и утащил арбу из очереди. Военные перешли к другим телегам.

На обочине Сура встретил Мойша.

– Вей-вей, как нехорошо, как странно... – лепетал он гнусяво и беспомощно, вытаскивая из кармана давно не стиранную тряпку, прижимая ее к пораненной ноздре любимца.

В очереди ожила разборка, вопили и сквернословили бабы, рычал капитан, разводил руками и вполголоса уговаривал всех и каждого пожилой солдат.

– Направо! К Дедовой хате!

– Что врешь? Какой понтон, какая Дедова хата?! Сам катись к Дедовой!

– Умри ты сегодня, а мы завтра! Немец на загровке сидит!

– Молчать, дезертиры!

– Сам ты!..

– Чтоб тебя так твои дети жалели, как ты нас жалеешь! – узнаю проклятие моей сердобольной и всетерпимой бабушки.

Реб Мойша не участвовал в разборках, он забыл о переправе, о неумолимо наступающих обоз немцах. Надругались над его Сурой, смирным простаком, отощавшим, сильным и трогательно наивным тружеником. Мойша промокал его кровь, прижимался щекой к ушибленным губам животного, испуганно и чуждо поглядывал на обидчика и все мельче дрожал всем телом. Меринок потянулся, выпрямил шею и принялся ласково покусывать кацавейку на плече еврея, словно чесал гриву своего соплеменника...

...Сколько живу, не могу отрешиться от этого зрелища. Оно породило во мне уважение, поклонение маленьким, бесправным людям одинокого труда. Понятие «частник» у меня соединилось с конопатой мордочкой куцего, серенького меринка, который топает-топает и – вывозит, которого бьют и выбрасывают из законной очереди... которому отдают последние полхлеба... и называют именем любимой женщины.

(«В глубь страны»)

4

Кавказ со стороны Каспия. Толик видел двадцать девять национальностей Дагестана и еще почти столько же эвакуированных, ходил по накрепко замерзшему Каспийскому морю на широте Дербента и еще много, чего сами кавказцы до того не видели столетиями. Служил подпаском с девяти лет, получал четыреста граммов черного, Бог знает из чего испеченного, хлеба с сильным запахом керосина – на этом горючем, видимо, и пекли его. Получал еще четыреста сорок рублей зарплаты. Лаваш, буханка хле-

ба или пирог с рисом стоили по сто рублей штука. К тому же партия велела и пацану подписаться на государственный заем, и он выплачивал проценты.

Все беженцы болели малярией, многие умерли. Бабушка Катерина и трехлетняя сестричка Лиля – тоже. Маленькая спала под одним одеялом с Толиком, ночью совсем заледенела. Он прижимал ее к себе, дышал на ручки до утра. Оказалось, что собой обогревал мальчик покойницу.

Местное начальство, и нацмены и русские, относились к беженцам жестко. Только в начале сорок четвертого года, кода будущий писатель переболеет лихорадкой, экземой, чахоткой и начнет выкарабкиваться, отец с фронта найдет семью письмами. Военкомат Дагестанских Огней возлюбил семью капитана и героя войны и дал матери Толика легкую работу: доить буйволиц и кормить волкодавов, чтобы они не жрали овец, которых охраняют. И сам военком посоветовал:

– Вы, жена офицера, просевайте отруби сквозь густое решето. Крупное варите псам, а мелкое пользуйте себе. А также позволяем вам по утрам брать с собой сына на дойку буйволиц и давать ему кружку парного молока. У этих животных оно лечебное.

И правда, подросток начал поправляться. Но лучше почитаем у Малярова...

...Тощали, паршивели и умирали беженцы. И моя бабушка. И моя сестричка... Дошла очередь и до меня, десятилетнего туберкулезника. И тут явился из Дагестанских Огней военком. Лакированный козырек, чищенные сапоги; вместе с лиейкой, запряженной парой мышастых, он словно спустился с Эльбруса – и прямо к прилепленной к холму сакле. Высыпали лезгины, беженцы. Военный поманил в сторонку мою маму.

– На мое имя пришло письмо из штаба Первого Украинского фронта. Что же вы не признавались, что ваш муж – комбат, герой войны?

– Говорила, писала... – со страхом прошептала мама.

– Ай-яй-яй! Нельзя, чтобы голодала семья героя. Примем меры. Мы вас переводим на кутан, отделение заготскота. Даем работу. Будете кормить собак. По двести граммов хлеба получите на каждого из пяти...

– Из трех...

– Из трех членов семьи. Но главная поддержка, – совсем шепотом продолжил военком, – от собак. По рациону на каждого положено по килограмму отрубей, по пол-литра пахты и по голой косточке, что ли. Не накормим, начнут жрать овец, буренок и... беженцев, хе-хе-хе, такие пироги... Втайне вы сможете просеивать отруби и тонкие присваивать на «матаржаники», а что там останется – псам. В костях бывает мозжечок... Пахту, если подогреть... Доживем до победы!

Пелем был по-волчьи серый, с белым охватом шеи, вечно пощелкивал челюстями, ложился у ворот базы не без угрозы. Двух каштановых, мохнатых, ростом с крупного теленка, звали Шайтан и Керим. Самой красивой была белая кавказская сука Зара. Глаза газельи, к детям материнское терпение; с утра вылизанная отцом своим Шайтаном, веселая, строгая с кобелями. Абиска и Тхе были взрослыми щенками, лаяли только с подачи старших, волтузились в пересохших верблюжьих колючках, носили их на себе пучками.

...Я помаленьку поправлялся. Теплая пахта, мозжечок из старых, подсохших костей, «лечебные матаржаники» из отрубей прогоняли хворь.

Тощали и паршивели собаки. Первым не вышел на ночное дежурство самый старый – Шайтан. Роскошная, шелковистая шерсть его сбилась клоками, взялась колтуном, обслась блохами. Старший пастух Мыслим не звал его на выпасы.

– Ко-ро-ста, – с трудом выговорил старик чужое слово. – Ам-ам ёк, курсак пустой, Шайтан яман!

Неделю пес ходил, смазанный дегтем, терся об калитку база, об углы барака, оставляя клоки мокрой шерсти и вонь. На утреннем наряде заведующий Уматали, длинный джигит, в гимнастерке и без кисти левой руки, сказал слово про старого Шайтана не без восточного уважения к твари:

– Сэм лэт с нами радом. Душил хищник... Адын на мой глазах. Якши, заслужен... Карашо, када собака друг, плохо, када друг – собака. Мал-мал шютка!

И велел Мыслиму не распространять коросту на коров, овец и людей. Старик прикинулся, что не понял русской речи, тогда заведующий повысил голос и повторил по-лезгински.

Пес стоял на наряде и, похоже, понял то ли родной язык, то ли настроение хозяина. Попятился, бочком, бочком и – нырнул в овечий баз. Оттуда его вытолкала пастушка Анаит лопатой. Шелудивый, понурый, Шайтан не переставал удивляться перемене отношения к нему. Он все так же любил людей, баранов, из последних сил тянулся к гурту, а там не признавали. Постоял среди опустевшего двора, пошатываясь, обошел стены загона, еще постоял в полуобмороке. Сильно донимало солнце, язвили голые бока. И тут пес заметил в руках Мыслима не посох, не арапник, а винчестер, и это днем, когда волков и вдали от кутана не сыщешь.

Подальше от беды. Шайтан переместился в тень, потом забился в куст, прилег. Беспокойство усиливалось. Он тенью перебежал в сени барака и сунул голову за швабру, в тряпку. В отворенных дверях вырисовывалась тень Мыслима. Я стоял сзади, чтобы рикошет не сразил и меня. Шайтан высунул голову из тряпки, приветливо взвизгнул, повилял голым хвостиком, стоя сложился вдвое, глянул по-человечьи безнадежно.

– Якши, Шайтан, бура гел... – ласково бубнил Мыслим.

Чтобы не мучить себя и собаку – выстрелил. В глазах старого пса встало недоумение, потом обида. Он оскалился, зарычал, с давней силой залаял и бросился навстречу второму выстрелу...

Потом смазывали, отделяли от гурта Керима. Повторилось.

Пелем был недоверчив. Начав шелудиться, он украл ярочку Тинатин, задрал, подкрепился и сбежал в горы.

Пошел слух, что исчезла и Зара. Однако когда стреляли Керима, чей-то знакомый голосок скулил и повизгивал в погребке самого Уматали Алибекова.

Я поддался было азарту травли, но, наткнувшись на взгляд юной жены заведующего кутаном Патимат, которую недавно купили в ауле за десять баранов и десять тысяч рублей (буханка хлеба – сто рублей), я задумался. Чистенькая, в искрящемся шарфике и шароварах, в монистах и чувяках с острыми носками, Патимат очаровала меня.

– Зара, мал-мал деде... мама, – прошептала она мне одному. – Собака – тоже люди.

Но доверчивая Зара ночью выходила на привычное дежурство. Вместе с Абиской и Тхе. Пристрелили их всех. Хотя у белой красавицы не было коросты.

Щенков Патимат выкрала и с верным кунаком отослала в свой аул. Я поправился и уехал в Украину.

(«Собака – тоже люди»)

От почти четыре года в эвакуации Толик нес бремя взрослого страдальца и слыл ангелочком. К тому же переболел малярией, чахоткой, чесоткой, черт знает еще чем. Может, потому в дальнейшем до старости не знал болячек. В последние же дни на Кавказе угар сборов домой затуманил ему мозги, он пошел на первое злодеяние. Потом будет много других, но это!..

...Дагестан, сорок четвертый год, весна. На усеченном холме, в осыпавшихся стенах старой крепости – Кутан. Это загоны, поднавесы, хижины и сакли отделения «Заготскота». Низкорослые горские коровки, покрытые болотной

коркой дойные буйволицы, овцы и козы. Десяток верховых скакунов, непригодных для мобилизации, и полдюжины собак. А еще лезгины, даргинцы, кумыки, старики с семьями, пригнавшие для выбраковки скот. И три семьи беженцев – женщины, дети, среди которых одиннадцатилетний подросток – я.

Подъем в пять. Об умывании и завтраке не заикаются. Мама на дойке, дед Овчинников, с бандажом между куцей рубахой и сползшими задубелыми штанами, – на воротах. В проем сакли наблюдается старый аксакал Мыслим. Узкой седой бородки и рук на щеках не видно, а вот тощий зад под трепаным бешметом то поднимается, то опускается. Слышны бормотание и время от времени, после каждого поклона, стук костяшек.

Так продолжается уже давно, с моим пробуждением молитва заканчивается. Дервиш, а может, просто состарившийся и обнищавший абрек из аула, на минутку усаживается на свои босые пятки, отдыхает, старательно прячет большие, в крупный желудь, темно-коричневые бусины на бычьей жилке под пыльный коврик, крикнув, выпрямляется и идет на порушенную бойницу.

– Во-о! Абиска! Во-о! Марианн!

Это он созывает пастухов и машет деду Овчинникову – отворять ворота. Проходя обратно мимо моей двери, видит, как я выметаю сор за порог. Шутит:

– А-я-я! Тола – дэвушка, дамой чистит!

На животе у старика болтался короткий кинжал в битом чехле, но с серебряным окладом, за спиной покачивалась кожаная сумка с пайкой лаваша и огрызком курдюка. Иногда с комком теста, которое он в ущелье, на выпасе, долго месил на собственной ляжке, потом пек, прилепив к стенке очага из трех кирпичей.

– Вкоза ма, Пелем! – крикнет Мыслим серому волкодаву и спокойно, даже величаво обедает, то есть слюнявит и перекатывает в беззубом рту свой лаваш.

Когда с фронта пришло письмо от отца и деньги на билеты домой, в Украину, мы ожили, засобирались. Хотелось что-то такое привезти землякам в подарок!.. Кинжал, щенка или двухколесную арбу не достанешь и не довезешь. А вот небольшое, чтобы за пазушкой спрятать, и такое кавказское, со своей историей, чтобы рассказать, показать и посмеяться...

Улучив утро, когда пожитки наши были в мешке, билеты на поезд – в мамином узелке на груди, а Мыслим стоял на бойнице и вопил: «Во-о, Абиска! Во-о, Марианн!», я вбежал в саклю, сунул руку под угол растоптанного коврика и достал четки, увесистые, переливающиеся живым теплом из ладони в ладонь – вот-вот заговорят.

Жутко стало, хотелось бросить эти крупные желуди, даже вскрикнуть, но уже было страшно остановиться на полпути. Этого объяснить я не мог, но обложен был страхами со всех сторон.

Выбежав за саклю, я тут же нырнул в проем загона, взобрался на коровник и там, в кровле-мазанке, зарыл свою поживу.

Сутки до отъезда ходил приглушенным.

Вечером наблюдал, как старый Мыслим шепотом, вытянув и без того тощее лицо, на своем языке расспрашивал лезгинов, тех же Абиску и Марианн, Ильяса и Бабу... не видел ли кто его четки.

Потом скромно вызвал маму мою за порог, долго извинялся, называл дорогой и карошей ханум, издали просил, не подскажет ли она, где могут быть его четки. На долгую-долгую ночь обрек себя без молитвы и ужина бродить вокруг Кутана и бормотать просьбу к аллаху вернуть ему святыню.

Я улегся на крыше, потому что малярийные комары доносили. Я не спал, слышал и при свете огромной луны видел мучения старика. Хотел взобраться на коровник и как-то подбросить украденное. Но дервиш ходил и ходил между за-

гонами. А утром взвыл. Выхватил кинжал, по-своему, проклинал людей и обещал:

– Секим башка! За-рэжу!!

Тут уж про возврат не могло быть и речи.

Стадо Мыслим все-таки повел на выпас. Это дало мне возможность достать с крыши четки. И не вернуть ему. Все тот же двойной страх принудил меня сунуть их на дно мешка с одежонкой и, понукая маму, быстренько уйти на станцию Дагестанские Огни.

Дорогой я все еще боялся, не хотел, чтобы мама нашла мою поживу. Но мытарства в телячьем вагоне, пересадки в Ростове-на-Дону и Харькове приглушили ужас, освободили от вины. Подумаешь, полудикий старик с его суеверием!

...Дома нас встретил хутор Терпаны. Вымокший и отрухляевший грушевый сад в кротовом лугу, пожравшие Бакшалу камыши, три таты под стрехами и коровка Лизка, ходившая в упряжке и дававшая молоко.

Тетя Ольга, хозяйничавшая споро и умело. С рассвета – в поле, под заход солнца – у печки. Ее двое детей, я с сестренкой, еще три племянника, тоже после эвакуации, – всех добрая душа взялась откормить и на ноги поставить. Кабанчику задавала принесенного под полой зерна, смешанного с коровьим пометом, собачке подавала вылизывать котлы после мамалыги и «смаженого», курочкам бросала колоски. А уж нас лелеяла, задабривала, целовала...

Хотелось быть добрым, как тетя Ольга. Я однажды полез в старый мешок, достал лучший из своих подарков – четки – и протянул всей босоногой рати.

– Вот вам подарок с Кавказа!

– Мне!

– И мне! – завопили в три-пять голосов двоюродные.

Назревал маленький скандал. Чтобы не нарушить идиллию на хуторе, тетя Ольга посоветовала:

– А ты, племяша, развяжи шнурок, подели поровну бусины на всех, пусть каждый нанижет себе маленькое монисто...

Разрезали. Поделили. Неделю-другую спустя сестренка рассыпала свои. Потом брат променял свои. А еще время прошло – никто и не вспомнит, куда подевались коричневые бусины с большой желудь каждая...

Много-много лет спустя я вспомнил эту незатейливую историю. Потом никогда не забывал ее. Это едва ли не самый большой грех, сотворенный мною за все семьдесят лет жизни. Прости меня, Господи! Прости, Аллах! Царствие небесное правоверному мусульманину Мыслиму.

(«Четки»)

5

Рельсы в крутой лощине. Два теленка пасутся на склоне. Гудит разбитый, состоящий из «телячьих вагонов» пассажирский поезд Баку – Ростов.

Напуганные животные бегут перед паровозом, ножки подкашиваются, оба падают между рельсов. Лезгин с обнаженным кинжалом и толпа беженцев из ожидающих отправки на родину бросаются поживиться горячим мясцом. Увы, поезд прошел и остановился на станции, а телочки встали на дрожащие ноги и пошли на склон пощипывать травку. Нам бы такую короткую память про ужасы.

Это на станции Дагестанские Огни случился анекдот, который Маляров рассказывал шестьдесят лет, только меняя место событий. С черных тарелок на столбах женский голос объявляет о прибытии и посадке. Потом кашель, потом грохот – и возникает мужской голос, вещает:

– Поезд номер сто сорок, дробь... Тьху, блядь, сбился! Поезд номер сто пятьдесят «Баку – Ростов» прибыл...

Потом посадка, когда мама из толпы мешочников, словно из водоворота, протягивала билеты, завернутые в сотен-

ные бумажки, а проводница, перехватив взятку, с матом и бараньими глазами втаскивала детей за руки между ног таких же жалких возвращенцев, как и они.

Потом сидение и стояние, как селетки в бочке, на тертой соломе в вагоне для перевозки сыпучих материалов, только с дощатой крышей. Не задвигающаяся до края дверь и два прорезанных окошка, полметра на полметра. Писали и дети и взрослые в кувшин, а выплескивали мочу в узкое окошко. На ходу она возвращалась в лицо и тому, кто выплескивал, и тому, кто сидел рядом. Доедали остатки макухи и ликовали – домой едем!

Достойна памяти только реплика грудастого матросика, который после госпиталя попросился на фронт:

– В бою перед тобой – противник, за спиной – заградительный отряд. Или ты – врага или тебя – свои. Это лучше, чем в тылу видеть, что сделали с народом вожди.

Это было страшно, от матросика отворачивались, рады бы отодвинуться, но некуда. До подростка нашего вдруг дошло: не один его русский кулак дедушка думал так и не одного чеха-дворянина дедушку расстреляли в двадцатом году.

Малая родина, к которой восторженно стремились, встретила разбитыми и сожженными бегущим немцем машинами в долине. Наша грязь и бездорожье, отсутствие бензина показали врагу кузькину мать. В огородах – вороха винтовок, коробки патронов, пехотные мины. Подростки растаскивали по домам все такое добро, иногда взрывались, оставаясь без рук, без глаз, а то и без живого места – насмерть. Доедали остатки припасенного при правлении румын в наших районах, подкрадывался голод.

Толика определили подпаском – такую профессию он нажил на Кавказе. Три-четыре десятка буренок, бык Лысый, дюжина козочек и дед Назар, старый пьяница. Загуляет чья-то коровка, в конце дня за нею, естественно, ко двору хозяйки, идет влюбленный бык, чтобы довести свое свя-

тое дело до конца. А за ним дед Назар, чтобы порадовать землячку – готовностью ее кормилицы в будущем дать приплод и молочко. Естественно, старику ставили бутылку самогону, который варили, по бедности, из конфет-подушечек, из брикетов цвелоого киселя, из гнилой картошки, и кормили.

Дед Назар жил аристократом, даже позволял себе выпивать газету «Правда», единственную, что привозили трактором из района. Трактором, потому что в грязь по балкам не добраться ни полуторке, ни телеге.

Летом солнцепек на голову без убора, острое жнивье, оводы, разгоняющие буренок в разные стороны, Толик сносил стойчески, все-таки трудовень, а на него сто граммов пшеницы к Новому году. В полдень спускали стадо с холмов на луг, там – криница с желобами и огромной бадьей и три каменные бабы для того, чтобы коровки могли почестаться и сунуть головы в тень.

Таскать бадью из глубины и наливать воду в желоба – обязанность Толика. Сам пацан по три раза жадно прикладывался к холодной воде. Однажды так засосал, что вдруг рот заклинило. Оторвался, посмотрел: это посредине бадьи распласталась лягушка. Потом парень смеялся: как сладко, взасос он целовал жабу!

А дед Назар садился в тень столба, разворачивал свою «Правду». Эта его газета и вывела Малярова в люди. Не тем, что исправно врала и зомбировала простаков, а вот как. Напоив стадо, подросток пошел искать тень, заглянул через плечо старого пастуха и читателя. На развернутой странице штабелями размещались портреты прилизанных и холеных мужиков. А дед Назар матюгался:

– Ич, педерасты! Сидят себе в тенечке, баба им кваску да перепечку подаст, а то еще и примолвит ласковое. Они и водят пером по бумаге. Писатели. Лауреаты! Каждому выдает товарищ Сталин по пятьдесят и по сто тысяч рубликов. Это сколько же бутылок можно взять!

Толика осенило. Надо пойти в писатели. Пошло на хрен и стадо и голодовка! Вот только надо буквы вспомнить да нарезать газет или тонкого оберточного картона на тетради и пойти в школу. Что такое Мариновская школа и школяры в сорок шестом-седьмом году и далее, читаем у Малярова.

...Год – голодный. Физрук Мариновской семилетки, Вась-Васич, демобилизованный по ранению, одинокий мужичок в шинели с рослого солдата, немогущий и крикливый, читает книги только с описанием застолий: в имени Собакевича, в палатах Ростовых, даже у деда Шукаря на полевом стане. Почитает и – вроде бы поел.

Идет утром в школу и видит на цоколе полуаршинными буквами, видимо, паленой известью по серой штукатурке, написано: «Школа – крамола, директор – комоль, Жеребко – хуй!»

Думает Вась-Васич: «При нашем запустении ничего против власти тут нет. Но стереть придется. Только как успеть до начала занятий? Тетя Франя где-то полы протирает, у меня самого – одна рука и та при трех пальцах».

Пошел в кабинет директора:

– Максим Павлович, там фронтон подпорчен.

– Читал. Позвонил в сельсовет, пусть участковый разберется.

– Дак пацаны повалят в школу аккурат со стороны лозунга. Мы их научили читать на свою голову.

– А сотрем, как же вещественное доказательство?

Вечно сонный директор, с тучной одышкой даже на голодный желудок, подумал, сказал:

– Васильич, ты отгороди чем-нибудь эти вирши. Телегой там или поставь уборщицу.

Отгораживать не пришлось: толпа школяров, от первого по седьмой, выпускной, класс нарастала у фронтона, выкрикивала рифмы со стены и не поражалась хулиганской

выходке. Подумаешь, написана правда: директора прозывают «комольй», Севка Жеребко дерется без разбору – хуй он и есть хуй. Это тебе и на конюшне, и у сельпо, и батька дома – все скажут. А вот что такое «крамола», черт его знает!

Сошлись учителя. Тamarлету, русачку, задело именно это редкое словечко – крамола.

– Что же получается: мы не строителей коммунизма воспитываем, а бунтарей!

Подрастающему поколению стало ясно: крамола – это против власти.

Максим Павлович не выходил из кабинета, чтобы народ не требовал решительных мер. Заперся, думал: «Комольй» – это наоборот от «рогатый». А почему я рогатый? Что же-на была блядью? Так это же при румынах, теперь власть поменялась, она снова передовик в колхозе, мы оба снова порядочные».

Сельсовет отмалчивался. Директор еще крутил ручку телефона:

– Алло! Голова на месте? – спрашивал у секретарши.

– В район позвали. Там нашего участкового привлекли.

– Гм... За что участкового привлекли?

– Секретное дело. Только вам скажу, как партиец партейцу. Участковый ездил по хуторам и пил самогон, а брагу коню своему скармливал, вот и возвращались оба рывками и зигзагами. У жеребчика распухла мошонка, волоклась по пыли. Вчера издох...

Ясно, местная власть не помощник. Пришлось позвать физрука:

– Васильич, ты человек военный, расследуй-ка сам это безобразие.

– Есть. Только с чего начать?

– Пойди по родителям.

Идея понравилась физруку. Начал с крепенького и вороватого хозяина Савки Хозы.

– Что, мой обратно стырил чего-то? – спросил тот с порога.

– Может, не твой. Но прочесать и твоего надо. Искать улики поручено мне.

Савка насторожился, глухо сказал:

– Давай-ка размочим это дело. – И крикнул в «комору»: – Старая, плесни борщу!

С «полика» достал поллитровку. Выпили раз и два, поужинали.

– Теперь я вижу – твой ни при чем. И знать ничего не знает, – официально заявил Васильич.

И запланировал завтра не идти прямо к старому Жеребко, но выбрать семиклассника, у которого родители с достатком.

Комбайнер и баянист Копийка долго не накрывал на стол, выпрашивал:

– А ты, кум, хорошенько читал этот транспарант?

– А что?

– Я ходил со своим штурвальным и его снохой, изучали. Шибко грамотный наваял его. Знаками разделил.

– А грамотному чего на школу обижаться? Это, скорее, такой, как у тебя, не туды хатка.

– А может, это та уволенная училка?

– Ну, ты даешь, кум!

– Я поставлю флягу, только ты запиши: мой вконец не грамотный, не дано ему выпендриваться. Я его учу, учу на баяне, все клавиши залегли, а он – дуб дубом!

...Еще три утра зияли вирши навстречу школьникам. Многие повторяли их, даже напевали в классе и дома. Приходили матери-бабушки, стучались к директору.

– Ладно, устройте родительский субботник, сотрите эти глупости, – согласился Максим Павлович и позвал физрука: – Ну, сыщик Баскервиль, как оно у тебя получается?

– Посетил уже четыре хаты, отнекиваются. На мою совесть, эти ни при чем.

– Ты вот что: не позорься с родителями. Точно перепиши слова со знаками и собери самых подозреваемых чертогон в один класс да продиктуй, как диктант. Кто напишет грамотно, тот и есть хулиган.

Грамотно написал один я. Но как подступиться ко мне: сын главного лица в селе, директора машинно-тракторной станции, то есть человека, который и уголька завезет в школу на всю зиму, и пришлет столяра-слесаря для починки кровли, парт, дверей...

На вечернем совещании директор велел:

– Ты, Васильич, займись самим Жеребко. Он и написал.

– Не клеится. Срамным словом обзывать самого себя?!

– Больше никому. Про тире мало кто знает в школе.

– А про крамолу в голос сказала одна русачка, то, может, она?

– Ну, ты даешь! Если она в чем-то и виновата, то лишь в том, что хоть одного дурака научила и слову «крамола», и фамилию писать с большой буквы и – тире.

– Да, все-таки хорошо у вас поставлено образование, Максим Павлович!

– Дуй, Васильич, к Жеребко!

В приземистой хате под камышом никого не было. Без обеда и еды пришлось физируку просидеть на стреме до вечера. А уже за столом разговор был прост. Отец выпил, снял ремень и вызвал сына. Порог переступил верзила, по виду лет семнадцати, с чистым и осмысленным лицом.

– Чем ты его кормишь, что такой, вроде на коне сидит? – спросил гость.

– А чё его кормить, сам жрет. А нет своего, достает на стороне. Подозреваю, одинокие солдатки подкармливают.

И тут же злой вопрос сыну:

– Ты писал на стене?

– Где? Что?

Старший Жеребко достал младшего через плечо ремнем. Тот даже не вздрогнул, только возвел очи горе. Вспомнил:

– А-а, в школе, тогда!

– Так ты писал?

– Не-а...

– А кто?

– Я знаю?..

Еще удар, по другому плечу.

– А кому ты морду бил на неделе?

– На этой? Перепелу и Краюхе. На Саню-вдовушку наговаривают.

– Нет, нет, – вмешался преподаватель. – Не на этой, а на той неделе кого тузил?

– А я знаю?..

– Узнай, иначе я тобой не согреюсь! – ревел отец и прошелся еще раз ремнем по спине своего красавца-наследника. – И где оно такое стерво взялось!..

– То Возияна, наверно...

– А за что?

– А шо, он же отличник, а списать контроль не дал...

И вспомнив такую несправедливость, младший Жеребко сурово, по-мужски всплакнул.

Отец уронил ремень, подошел к сыну, погладил плечи, те самые места, что сию минуту колотил ремнем. Сам скривился всей физиономией и хлипко так проговорил:

– Шо ты, сынку. Шоб из-за всякого говна плакать? Та ну их на хер!

Назавтра Максим Павлович заперся с Возияном и долго его кабинет был зашторен.

– Я понимаю, – разумно и валко говорил директор. – Я понимаю, что материться вас не переучишь, сам такой рос. Знаю, что вам хоть маковки печи, хоть кол на голове теши, вы все будете директора обзывать комылым... Но зачем так опасно обзывать школу?

- А как я ее обозвал?
- У меня язык не поворачивается повторить... Мол, крамола!
- Я так не обзывал.
- Гм... На цоколе всякую гадость ты писал?
- А чего он дерется?
- Так школа тут при чем?
- А кто же отстаивать слабого должен?..
- Разумно, разумно. Только откуда – крамола? Это же знаешь, чем пахнет?!
- А что оно – «крамола»?
- Вот тебе и на! Пишешь и не знаешь!
- Складно выходило, вот и написал. А что оно «крамола», не знаю.

Цоколь поштукатурили заново: под командой Васильича – Жеребко и Возиян. Потом обоих исключили из школы сроком на три дня. Жеребко помогал отцу у трактора, а Возиян все равно ходил на уроки.

Много лет спустя выяснилось, что из нашего захолустья вышли люди: один – капитан дальнего плавания, один – управляющий нефтяным комбинатом, один – глава всего мукомольного производства Туркменистана. Возиян стал кандидатом филологии, я – литератором.

Один Жеребко зарабатывал хлеб честным трудом – пахал в тракторной бригаде...

(«Граффити»)

6

В третьем классе Толик знал куда больше своих одноклассников. Они два года сидели за партами, изучали славную историю Румынии, показывали на карте город Бухарест и пели гимн юному королю Михаю. Он же прошел пешком до Кавказа, пожил среди опасных

горцев, сам себе добывал пайку хлеба, научился скакать на полудиких конях, врать, воровать, потерял наглой смертью сестричку и бабушку. Слышал, видел, чувствовал как взрослый. Для него за каждым словом учителя стоял большой и настороженный мир. Поразительная память копила чужой ум жадно, складывала и выстраивала понятия в свои формулы, битые мозги соглашались, чаще не соглашались с позицией менторов. Припугнутый характер, хоть и подспудно, питался своими убеждениями, но вслух не возражал – вот вырастет, станет писателем и лауреатом, тогда скажет свое слово. В чем это слово будет своеобразным, он долго не задумывался.

Да, школа кое-чему учила, только не сочинительству. Подросток искал тех, кто вывел бы его на творческую тропинку. На почту привезли красненький, малоформатный, в картонной обложке томик Лермонтова. Толик украл у мамы дерюжку и забытую пряжу, сдал старому ветошнику за гроши и выкупил книжку. А так как путь к своевольному поэту, да еще через воровство, был преступный, а переживания изначально честного мальчугана всегда глубоки, то реализовать приобретение надо до предела.

Толик читал внимательно каждую строчку, даже сноски и примечания. Зло, учиненное им, мучило его до того, что он пошел дальше: заучивал стихи наизусть. Благо, это было не трудно: они были прекрасны и ложились в душу ритмом, рифмой, музыкой, при чтении впотьмах, для себя по памяти – одевались смыслом.

Хлопцу было этого мало. Нескладный и бледный, он пришел в клуб (хату, перелицованную из магазина, в котором нечем было торговать) и попросился в драматический кружок. Вел заведение раненый сержант Иван Иванович, бедный и веселый человек, умевший писать декорации, ставить спектакли и лучше всех играть на подмостках. На Толика посмотрел свысока, даже посмеялся, однако зачислил «в труппу», поскольку занимать чем-то беспривязную

и вороватую сельскую молодежь велела партия. Дали молодцу роль партизанского сына. С этого и началось. Слабым голоском, но высоким ростом, с первой подачи знанием текста и наглостью на публике, Толик нравился колхозникам, потому не сходил с подмостков. В пьесы классиков он не вчитывался, а вгрызался. Кто говорит, что говорит, кому и зачем? А главное, какими словами и как их выстраивает? Это, наверное, была первая школа его драматургии.

А тут еще появилось кино. Коля Клочков, тоже инвалид, два раза в месяц появлялся из-за Бакшалы, сидя ногами набок в разбитой телеге, впряженной одним грязно-серым и дряхлым мерином. В задке экипажа стоял крохотный «движок». Сразу же Коля собирал подростков:

– Ты, хлюст в маминой кацавейке, моешь полы в клубе, ты, недоносок, достаешь бутылку для дяди Коли, а ты, шибздик (это Толик), как сын директора, приносишь пять литров бензина. Все получаете право лежать на сеансе перед самым экраном.

Слова «сеанс» и «экран» как-то не ложились на битые половицы, залепленные старым болотом, на пятерней мазанные стены, на босые ноги и рваные штаны пацанов, но возвышали души и выпрямляли спины – культура приезжала на дохлом коне и помогала жить.

Зрители приходили со своими скамеечками, садились на перевернутые подойники, на подоконники (окна были забиты фанерой). Фильм крутил Клочков вручную, так как напряжения хватало только на лампочку, чтобы просветить пленку.

С киноэкрана пришел первый идеал женщины для Млярова. В фильме «Первая перчатка» он впервые увидел юную женщину в купальнике. Это была дивная Надежда Чередниченко. А к этому времени у подростка пробуждались гормоны. Он думал и думал о ней, ждал новых фильмов с ее участием. Клочков не привозил их в село, и хлопец возненавидел его.

Тут стоит упомянуть о превратностях судьбы. Девятнадцать лет спустя, уже заметным режиссером телевидения и театра, Маляров ставил огромный праздник на стадионе – денежная халтура подвернулась. А так как человек он добросовестный, то после субботнего концерта заметил, что четыре часа – много даже для терпеливых судостроителей. На воскресенье стал сокращать номера. Под сокращение попала и актриса с малоинтересным чтением лирики. Это была Надежда Чередниченко. Потом молодой мэтр долго страдал, но уже не от любви к этой женщине, а от самоанализа: не чувство ли дикой мести (не понятно за что) повело его на исключение из программы некогда любимой красавицы?

Тогда, в сорок седьмом, у раннего подростка было поползновение обладать сверстницей. В гостях у дяди Лади-ма, в ста километрах от дома, его уложили спать на полу с двоюродным братом и двумя его сестрами. На вторую ночь старшая оказалась рядом с ним. Непослушный отрок торчал с вечера до утра, и юный самец все пытался засвидетельствовать свое возбуждение Галке. Легонько касался ее тела сквозь рубашонку, а поняв, что она не выказывает обиды, стал рукой шупать тощие ее бока, прижимать пенис к ее попе. Днем на речке старался заманить девочку в воду, чтобы потискать, как бы переводя через глубокое. А когда она ушла с подружками за реку, он, не умеющий плавать и боявшийся воды (как и высоты и замкнутых пространств), бросился с запруды в малый водоворот и таки доплыл до сестрички. В тот же день догадливый дядя Ладим отправил племянника в Мариновку.

Подлинная же первая любовь описана мастером в короткой новелле, хотя и в третьем лице, но достоверно – проверено биографами.

...Во втором классе Севку Савчука прозвали «жених-и-невеста». Поделом. У доски разволновалась Ганя Бабкина и пустила по коленке влажную струю. Вдовий недокормыш Ратушняк из-за разношенной, еще довоенной парты вскрикнул:

– Мокруха!

В короткий перерыв Севка подошел к охальнику и с оглядкой прогудел:

– Ты – дурак. А если бы с тобой так? Смотри!

– А что ты мне сделаешь?

– По кумполу...

Ратушняк сжал свой кулачок, похожий на цыплячью лапку, и ткнул Севку в грудь. Тот был доходягой, как и все в недо-род, но повыше ростом, потому взял вдовьего недокормыша под силки и уложил в парту.

– Держать или пустить?

Тут затрещала латунная гильза: звонок на урок. В двe-рях толпились кореша, из глубины коридора правила порядком училка. Севка разжал руки и – получил в глаз.

– Звонок ведь, – законопослушно простонал он.

Но Ратушняк бил и бил в лицо Савчука, пока не закрылась дверь за спиной вошедшей училки. Потом весь урок Севка проплакал за задней партой, никто не пожалел. А прозвище приклеилось...

В пятом классе как-то вдруг у той же доски встала вытянувшаяся девочка, в тоненьком конопатом свитере с мамино-го плеча, но перевязанном, подогнанном, и в синей юбке с широкой складкой. На голове – две жесткие косы. Когда она склонилась над столом и приблизилась, в проборе не было видно ни одной гниды – моется.

Потом, глядя на девочку, Севка потерял слух и счет времени. Видел только, как сбивчиво шевелились полудетские губы, по-кошачьи вытягивалась голубая тонкая рука с указкой, пугливо посматривали черные, в густых бровях и ресни-цах глаза. Это Ганя Бабкина. «Мне четырнадцать, – думалось Савчуку. – Стыдно!» Но с того дня он оглядывался на женщин. Молодуха с сапкой в огороде или старшая школьница, прыгающая через плетень с голыми ногами, вызывали в нем тайное томление, даже грешные думы. Но Ганя Бабкина

– картина в красном углу, придумка, образ. Такое и целовать-то не принято, разве что на иконе.

Он стал прихорашиваться: зализывал чубчик вверх и направо – политика! Выпросил у деда галифе с грушами ниже колен, добыл галоши: на босую ногу, но все же обувка.

Ответы девчонки в классе стали для «жениха-невесты» странной истомой. Она брала мелок или указку, становилась в отворот к доске – все в том же свитере в конопушку, в тех же складках на коленках, чисто заплетенная, с волнистыми, как бы потягивающимися движениями рук и вспугнутыми глазами. А для него мир погружался в голубую майю, словно на керосинке прикручивали фитиль и под сводами возникали духи; пели и водили хороводы без голосов, куда-то манили и настораживали – грех ведь. И вирши запоминались все скоромные, не для классного чтения:

*Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.*

Когда у Гани не получалась задача, Севка позволял себе выходить к доске и доказывать, что такая путаница и ему не по плечу, можно всему классу ставить «плохо». Опеку его стали замечать. Учитель черчения, рассматривая работу Бабиной и стоя с нею рядом, вдруг поднимал голову и спрашивал через класс:

– Всеволод, а как ты соединил эти две линии? – Знал, кто девочке чертил.

Такое тянулось изо дня в день, из года в год. Можно привыкнуть. Как водится, в седьмом классе мальчишки повадились хватать девчонок за талии, случалось – повыше. С Ганей такое не прошло. Она при первом же прикосновении откинулась к стенке, не своим голосом взвыла, слезы прямо брызнули на свитер. Оставили в покое и ее, и других одноклассниц, хотя не были уверены, что все они недоτροги.

В те годы седьмой класс был выпускным. После экзаменов пошли встречать рассвет. Пели, шалили. Переросток Коля Семенцов, мускулистый, в папиной гимнастёрке парень, предложил бороться. Решиться было некому, мальчишки посматривали по сторонам, девчонки морщились: да чего там пачкаться...

Рядом с Севкой стояла Ганя. Он вызвался. Из пяти попыток тонкокостный, бледный и заранее задыхающийся Савчук дал бой. Проиграл крепышу, но с почетным счетом – три на два. У класса расширились и округлились общие глаза.

А когда Севка возвращался домой, чуть приотстав (все же побитый щенок, прилюдно посрамлен), он вдруг почувствовал рядом с собой легкие шаги. Это Ганя отстала с ним.

– Всеволод, – сказала она по-взрослому. – Не рви сердце. Семенцов – чужак. Осенью пришел, летом уйдет в свой совхоз. Забудется.

Савчука словно подменили: тайная сила поставила его поперек дороги перед девушкой, руки сами собой схватили ее вспыхнувшее, вскинутое лицо. Веки опущены, рот приоткрыт. Но ужас! Оказывается, она грызла стебелек и на нижней губе прилип кусочек пырея. Он не поцеловал. Опустил руки, рядом пошли догонять класс: ничего ведь не произошло...

За лето в полевой бригаде Севка заработал на мичманку, рябчик, шкары – прибарахлил. Взялся за чтение умных книжек, перестал матюгаться. И все старался не искать повода общаться с Ганей. В девятом классе подходили то Юрка Латий, то Ванька Гайдай, допытывались, нет ли чего между ним и Бабкиной, а то они к ней подсыпаются. Потом докладывали крепкими словцами, что эта ледышка не «по этому делу». Савчук отмалчивался, только налегал на учебу, чтобы выделиться. И крепко страдал, исподтишка, вперившись в неприкасаемую у доски. Пытка продолжалась, пока не пришла повестка из военкомата.

Тут он услышал шепот соседки по парте, Раи Гречихи:

– Вечером приходи за болота, к заводу. Ганя будет ждать...

Желание заполонило сознание, религия осуждала желания, комсомол осуждал религию, а Севка принадлежал тому, другому и третьему. Чувства совсем растрепались. На двух последних уроках он получил два «плохо», ржал не к месту, ляпал такую дурь, что физик выставил его за дверь.

Стемнело, ноги вязли по щиколотки – бежал напрямик. Она стояла в толстой курточке, прятала свой длинный носик в воротник. Сказала:

– Только же ты будешь лезть...

И обдала ушатом студеной. Ходили по кромке суши. Говорили про то, как Иван много курит, как они вместе таскали на току верейки с початками, как бы рискнуть в институт. И не коснулась рука руки даже пальчиком. Слишком высоко поставили друг друга, не преодолеть.

Дома парень бесился, придумывал слова для объяснений, считал шаги к девушке...

Как-то, собирая всем звеном шелковичный лист, опрометью бросился к одиноко выпрямившейся над шувалом Гане. По-борцовски схватил ее за плечи, прижался губами к губам. Она задрожала, уперлась руками ему в грудь, промычала не то «Люди!», не то «Уйди!». Заполосным ушам показалось так: «Уйди!»

Он ушел. Вечером за болота не явился. А не придя единожды, совестно было явиться в следующую субботу.

Вероятно, парень «учитался-удумался»: дошел, что жизнь он проходит начерно – когда многое познает, кое в чем разберется, тогда уж проживет правильно. Таким и выдержал экзамены в столичный вуз. За два семестра огляделся, пообтесался, забыл галоши, рябчик, мичманку, освоил городскую речь, даже в отличниках ходил уже два семестра. Изучал себя больше, чем предметы на курсе, и правил свою натуру всякий раз беспощадно. Вскоре на каникулах предъявит Гане себя «парнем с верхней полки».

По пути домой пересадка в Котовске. Ночь, мореные пасажеры, одна бочка с пивом и армянин при ней. Вдруг статный солдат, с автоматом вниз дуло, пошел навстречу.

– Семенцов?

– Савчук?! Доходило до нас про тебя за полтыщи верст – таким хреном смотришься! Студент!

– А ты где? Поди, четвертый год не виделся!

– Ишачил в совхозе, прошлые полгода у тебя на родине школу механизации проходил, тоже – мазут да самогон... Вот призвали, ловлю дезертира.

– Давай по пиву, я со стипендией.

После второй кружки Коля Семенцов взбодрился:

– Помнишь Ганку Бабкину? Год и я с ней учился.

– Я учился с нею едва ли не все десять.

– Так я там, при механизации, душу отвел. Она сразу не поступила, сидела в селе, отчаяние, ну и...

Язык у Савчука встал колом, едва расшевелил его: поди, заликает солдат...

– Была же недотрогой, – простонал Сева-отличник, от-вернувшись от счастливича.

– Время ее пришло. Она же не деревяшка...

Хорошо – поезд засвистел. Опряметью Всеволод попрощался, пожал не ту руку, пролепетал рифмованную шутку. Потом стоял в тамбуре полночи.

Домой не свернул, проехал дальше, к дядьке в Кировоградщину, на заработки. А что, все так: еще один кусочек житухи – начерно.

...На этом лирическое полотно не кончается. После пяти лет института, невнятной дружбы с сокурсницей – вдруг приглашение в крупный областной центр, с хорошей зарплатой и комнатой в общесемейке. Устроился, сообщил на родину. Как-то неуклюже передал через ту же Раю Гречиху, мол, обжился на славу, можешь пригласить Ганю на смотрины. Подруга явно приглашала с изложением всех житейских ва-

риантов. Письмо на письмо: Ганя приехала. И кто знает, как сложилась бы судьба, если бы не первое роковое совпадение. Уже под хмельком, уже у него в комнате – обнялись.

И она вдруг прошептала глухо, невинно:

– Всеволод... может, спешишь?.. Я ведь не деревяшка... –
То же, видимо, говорилось Кольке Семенцову.

Расселись по углам, говорили чужое, повторяли: как носили верейки с початками, как списывали, ходили за шелковичным листом... Но не о шести годах нежного кино на фоне классной доски, не о ее первом шаге к нему, не о единственном поцелуе в роще. Так и разъехались.

Год спустя Ганя вышла замуж за инженера-сельхозника, будущего партийного босса. И фамилия его была – Ратушняк. Один, Семенцов, кто поборол при ней в юности, другой тот, кто, единственный в жизни, побил его, – Ратушняк. Муж Гани не тот вдовый недокормыш, но фамилия-то совпала – Ратушняк ведь!

И это лишь фальш-финал...

Сорок лет спустя. Сева, после удачной карьеры и двух неудачных браков, а Ганя, после сравнительно безбедной жизни и внезапной смерти номенклатурного супруга... вдруг поселились в одном городе, судьба свела даже в одном дворе. Окна только выходят в разные стороны. И это хорошо.

Не встречаются. Говорить ведь будут о верейках, списывании, шелковице, о жизни начерно. Но не о невозможности прожить ее набело. Не о вечном сравнении других прошедших любимых (он – с Ганей, она – с Всеволодом), о высшей оценке, присвоенной друг другу, о восторгах и страхе, о чистоте дум, об одиночестве – обо всем таком говорить в старости слишком заурядно, даже смешно...

Не встречаются, чтобы не портить песню.

(«Школьный роман»)

Страх перед жизнью – это страх перед непонятным. Кто догадается, что затеет природа завтра? Изжарит под солнцем (а у Толика никогда не было шляпы), зальет по колени дождем или заметет снегом, – а подросток до седьмого класса ходил в галошах на босу ногу или, в лучшем случае, в подобии чулок, сшитых или связанных мамой. На плечах фуфайка, на поясице некогда синие, вылинявшие и заштопанные галифе с фронтовика дяди. Да, да, семья директора МТС была нищей. Отец вернулся в сорок пятом без ноги по самую ягодицу, должность ему вернули, но зарплата – едва на пропитание двоим. Он же быстро-быстро соорудил третьего и четвертого ребенка, а воровать и врать выдвигенец и наивный коммунист не научился.

Пугали и люди своей естественностью, то есть прозрачными плутнями, воровством, верой в то, чего не было и не будет. При этом Толик сильно чувствовал, кому плохо. И даже тех, кто питался и одевался лучше него, жалел уже за то, что им хочется сытости, любви, покоя, чего-то большего, чем они имеют, а это не достижимо.

Однажды за оградой из колючей акации и дерезы услышал злой говор сразу нескольких голосов, заглянул во двор. В дверях покосившейся землянки стояла молодая солдатка, из тех, что получили похоронки сразу по освобождении села. На мусорной куче, между шелудивыми, забывшими лай собаками, толпились соседки, для правого суда стоял бригадир, старик Наливайко, далее – безрукий драчун Федя, плотник дед Коцар, которого в селе, где не умели отличить левого от правого, прозывали Моцарт, ну еще десяток безликих, серых подростков и баб. Все орало хором:

– Курицу свела! Вон пепел от перышек! В хате пахнет жареным! Никак не накормит своих байстрюков!..

Бить женщин в селе не принято, а вот срамить на весь околоток – да...

Эта вдовушка была молода, чиста в своем тряпье, красива, как икона Божьей матери. Глаза на опавшем лице огромны, просвечиваются карим лучом. Руки сложены крестом на тощих грудках, губы – в струночку, мол, будь что будет, слова не пророню. Взяла – не скажу, но сегодня насытила двух крошек – три дня выдержим.

Странно, но ни до этого утра, ни все шестьдесят лет позже ему как-то не случалось видеть эту женщину. Но ее запомнил, толпу нет, ее полюбил, людей возненавидел. И всегда удивлялся: каждый в отдельности человек беден и вызывает сострадание, а вот вместе, кодлом, колхозом, страной – и пищу кое-какую имеют, и одежонку, а некоторые – достаток, но почему-то не милы. И это страшно. Сам был и там и сям, жил, обдумывал, описывал, чтобы понять – и ничегошеньки не понял. Только честно воссоздавал былое.

...Весна сорок седьмого года. После трехсот дней засухи и морозов вдруг небо садится на голову. Тяжелые капли ползут за ворот, грунт развезло, огороды и проселки затопило. Только ни соловый колхозный голова Погорелый, ни суетливый бригадир Наливайко не замечают потопа. Они перехватывают на пороге осевшей в землю хаты самого директора машинно-тракторной станции. Первый человек в селе похож на колхозника, исхудалый и обношенный, недавний техник-капитан, на протезе по самую ягодицу и с сучковатой палкой в руке.

ПОГОРЕЛЫЙ: Товарищ Андрей Семенович, май на носу: что посеешь, то и пожнешь. Знаем, что у вас на двадцать два колхоза девять тракторов, но мы же из одного околотка!.. Нет, говори ты, Гриша. Семенович мне уже не верит.

НАЛИВАЙКО: Андрей Семенович, лето зиму кормит. Мы за то вам выписали постного маслица. Целых два литра, перебьетесь до нового. А уродит бахча, так завезем кавуна и

дыньку... Нет, скажите вы, Иван Дмитрич, я все равно сбрешу. Нечаянно, а сбрешу. Такая проклятая натура!

ПОГОРЕЛЫЙ: Товарищ директор, мы вам кочанов для хрячка и яшней соломы, когда оклемаетесь и заведете живность. Только все то, когда, наконец, уродит. А с первого же помолы – клумак муки сам вночи доставляю... Не встречай, Гриша, а то собьюсь... Трактора бы на недельку. Мы бы перетащили инвентарь на полевой стан. Хоть соломки бы завезли на конюшню: шкапы ясли грызут, совсем отощали – арбу не тянут. На сей раз Гриша не брешет: вот я прихватил для вас «вымогу» на маслице. Подписано в правлении и «комирныку» сказано. Пошлите своего парубчака за село с бидончиком...

НАЛИВАЙКО: Мы вот и кобылку ему приволокли. Ваш любит верхом...

Гнедая и тощая Кукла стоит за спинами колхозников, без седла, с обвислым крупом, со слипшейся от частых капель шерстью, прядает ушами в сторону каждого говорящего, авось подадут на зуб. Она чем-то похожа на всех троих изведенных нуждой селян.

У меня давно текут слюнки – взобраться на ее хребет наохляб и дать под бока, гляди, побежит. Жду позволения. На плечах у меня стеганая фуфайка, серая, прожженная у костра, с красной байковой латкой на спине. На худящей моей заднице отцовские, еще с фронта, галифе с грушами ниже колен, на ступнях галоши на босу ногу.

Команды не помню. Но я уже верхом, бью савраску мягкими пятками галош – беру «под шенкеля». Кукла и ушами не прядет, слава Богу, хоть двинулась и плетется за село, к пустым овинам.

Добрый «комирнык» Чехман подслеповато и долго читает «вымогу», разглядывает подписи, самого головы Погорелого и бухгалтерши; потом старик доброй рукой наливает «олию», на грамульку больше, то есть до краев, под крышечку, которая садится в горлышко неплотно, болтается.

Забываю поблагодарить, хотя мама наказывала: «Сыночек, в случае таки отпустят жиру, ты кланяйся дяде Чехману, он еврей и бывает хорошим». С колеса порушенной бидарки осторожно взбираюсь на кобылу, левой рукой подбираю повод, а правой на весу, как миро или священную воду, держу «олию» в битом бидончике.

За селом еду с песней, как же – коржа испечем, малых стричечек покормим и мне перепадет. В топкой улочке нас догоняет крепкая морось, я примолкаю. Чтобы Кукла не чавкала по колено и не упала в болото, я шенкелями прижимаю ее к размежеванным еще при нэпе огородам. Колючий провод давно оброс дерезой, высокой, до холки лошади; я коленом касаюсь сухих склонившихся побегов. Надо же: ошметок провода выходит концом к дороге, а впереди, в двух метрах, прячутся от дождя в дерезе воробьи!

Приспущенной грушей галифе я цепляю этот злополучный провод, он тетивой натягивается, дергается во всю свою длину, резко качаются кусты – большая стая воробьев взлетает вихрем... Кобыла, несмотря на то, что питается сухой соломой с пода, и то не всякий день, на видимую обморочную слабость, вдруг пружинисто бросается в сторону и назад.

К четырнадцати годам я уже привычный всадник, хотя и сижу наохляб. Удерживаюсь на ее хребте, даже приподнимаю дохлятину на дыбы... Однако – не все учитываю: не удерживаю бидончик на весу, в страхе утратить драгоценный груз прижимаю к себе, и изрядная доля, да больше половины, постного масла выливается мне на грудь и на правую полу фуфайки.

Дома мама выслушивает мои стенания, охает, мол, снова не на чем ни испечь, ни поджарить, и тут же с понятной материнской радостью говорит:

– Слава Богу, не разбился сам... А фуфайка? Леший с нею, походишь пятый класс лоценым и с вкусеньким запахом, пусть пацаны глотают слюнки.

Недели две спустя – те же, но без кобылки Куклы. Дождик подобрел, потеплел, теперь он из тех, что «три дождика в маю – и агрономия... не нужна». Поздний рассвет, унылый дворик директора; измученное после ночных болей в культе лицо инвалида Семеновича, напротив – плаксивые мины головы и бригадира.

ПОГОРЕЛЫЙ: Товарищ директор, День Победы на носу, выступите в клубе.

ДИРЕКТОР: Дак парторг же у вас есть.

ПОГОРЕЛЫЙ: Болеет он... Скажи ты, Гриша.

НАЛИВАЙКО: Грызжей мается. Вылезла с утиное яйцо и никак не вправишь в мошонку. До лекаря двадцать верст, а баба его забоялась своей вины, совсем никудышная, тоже слегла.

ПОГОРЕЛЫЙ: Семенович, что вам стоит, вы же прошли от Сталинграда до Берлина...

ДИРЕКТОР: Да и Клименко прошел...

ПОГОРЕЛЫЙ: Скажи ты, Гриша.

НАЛИВАЙКО: Клименко перепрыгался от первой мобилизации. Его сфаловали наши, когда уже вернулись.

ДИРЕКТОР: А баянист Копийка?

ПОГОРЕЛЫЙ: Гриша, что там у нас с Копийкой?

НАЛИВАЙКО: Что ни слово, то и мат. Он умный при кнопочках, а так дурак дураком.

ПОГОРЕЛЫЙ: Андрей Семенович, мы вам еще одну вымогу подпишем... из последнего маслица того. Говори ты, Гриша, мне уже нет веры.

НАЛИВАЙКО: А уродит бахча, завезем кавуна и дыньку, а с первого помола – клумачок муки сам Иван Дмитрич на горбу притащит...

ПОГОРЕЛЫЙ: Мы вот вам для куражу полненькую сулию прихватили. Моя выгнала. Из конфет подушечек и кирпичиков киселя. Продукт отборный, из американской посылки.

В перелицованном из довоенного магазина клубе комару некуда носик просунуть: недавние воины-победители, калеки и невредимые, солдаты, деды-бабы. Кто успел устроиться на трех длинющих лавках, кто принес с собой «ослинчики» или подойники – чопорно сидят и – все в воспоминаниях. Только наш брат-подросток роскошно растянулся на битом и смоченном «для пыли» полу, между кирпичным помостом и ногами первых зрителей.

Товарищ директор на трибуне. Видимо, для смелости он заранее принял гранчак конфетно-брикетной горилки из су-лици, естественно, без закуски, потому горяч и выразителен.

ДИРЕКТОР: ...Партия и лично товарищ Сталин создали несокрушимую и легендарную армию. Мы выиграли кровавую битву на Волге! (Мужик видит перед собой уважительный и душой слитый воедино зал, распалается). Мы нанесли фашисту десять Сталинских ударов. В Сталинграде, на Курской дуге, в Керчи, под Яссами – едри его мать! За годы войны мы вырастили великих полководцев. Это маршалы: Жуков, Конев, Рокоссовский, Малиновский – едри его мать!..

Понятно, автор прибегает к эвфемизмам – слушатели в то пресветлое время все получают натурой.

Чем больше вспыхивает и загибает докладчик, тем с большим пониманием, преданностью и восторгом слушает его публика. В конце – аплодисменты едва не срывают крышу магазина-клуба.

Могу свидетельствовать на любом суде: голова Погорелый и бригадир Наливайко, царствие им небесное, – люди слова. И арбузик-дыньку привезли в срок, и «клумак» муки выписали чин чином с первого помола...

Теперь мы, разумеется, пошли дальше. Чтобы получить справку, уже подписанную начальством, всякому мелкому клерку принеси не дыньку и «клумачок», а валюту, да зелененькую, родимой гривной брезгают.

Грехи наши тяжкие, грехи тяжкие!..

(«Коррупция»)

В характере моего героя с ранней юности жило убеждение: человеку, сколь позволяют обстоятельства, следует избегать лишних нагрузок, лишних знаний. Жизнь сама подскажет, что ему нужно, чтобы более или менее честно пропитаться и выглядеть не хуже людей. Заданно ничего не следует изучать, насильно набивать в мозги, необходимое, предначертанное тебе Богом обстоятельства и люди исподволь введут тебе в душу, а затем в мозги. То же и физические упражнения. Зачем они, если каждый день приходится поднимать снопы или засыпать яму, догонять телегу или подниматься на гору? И правда, здоровье и познания ненарочито входили в него, долго держали на свете, обогащали ум и душу. Наверное, он жил самой лучшей из возможных, то есть заурядной, жизнью. Вот, к примеру, как он стал водителем-любителем. Это непечатная история. Не по матерным выражениям, а просто – с моего диктофона.

...Товарищ директор степной МТС, мой отец, отличался сугубым постоянством. Отечественная закончилась четыре года назад, а он шинели не снимал, яко и кителя, галифе и сапог. Только погоны срезал да на союзки наращивал латки. Собственноручно – гонор держал на людях. А еще садился за руль, хотя левая нога, по самую ягодицу, осталась под Штеттином. Мотался по тракторным бригадам ночью с верным оруженосцем, шофером Олексой Чинским, а днем сам – на то в озере щука, чтобы карась не дремал.

До войны была легковушка «М-1», да в июне мобилизовали. После оккупации собрали горелого и наспех камуфлированного «Мерса», но партийный секретарь отнял под себя, в райком. Теперь кочуют на полуторке – тридцать пять лошадиных сил, в кузове – ящики с запчастями и тертое сено,

на случай если кто-то, директор или шофер, перепьют в колхозе.

В Сочельник по хате пошел шепот: едем праздновать в Богдановку. Дома нельзя – ни Рождество, ни Крещение, ни-ни! – отец коммунист и власть. А за шестнадцать верст, у слесаря с тамошней «летучки», можно и под иконами посидеть, и чарку-другую опрокинуть, кто донесет!

В деревянной кабинке уместились штатные: товарищ директор, то есть – мой отец, Семенович, и мама, Ватовна. В кузов полез верный Олекса, тоже коммунист, его жена, Саня, и я, хоть и недотепа, но первый ученик в седьмом классе. Вот так!

Через балку и два холма, мимо лесополосы и в обход правления колхоза – от глаз чужих подальше – нырнули в третий двор с краю. Косолапый Иван, сверстник обоим нашим мужикам, и Катерина, простушка ему под стать, оба «причепуренные», то есть в вышиванках и овчинных вывертках, с призывными улыбками, прямо руками втаскивали нас «до господы».

– Нарэшти удостоили! И того и позатого року токо обещаля!..

– Шановни гости, просимо до свитльци!

– Ради нэбо прыхылыты!..

В домике под стрехой, високом, побеленном и подведенном сажей по завалинке, царили мир и согласие. Девчонка, годом меньше меня, и мальчишка лет восьми, Катя и Ваня, – имена как у всех в селе, дальше фантазия родителей не доставала, – окружили меня, властью повели в угол светелки. Там ослин, уставленный пирожками, домашними конфетами из орехов и маляса, узваром – компотом и многими сытными блюдами, которые для меня незаметны были за сладостями.

Хозяева накануне закололи любимчика семьи, кабанчика Хваська, потому пир был жирный, ароматный и щедрый:

поджарки, соленья из погреба, варения из печи. Отца устроили во главе стола: почетный гость и – так удобней ему всего управляться с протезом. Мать справа – для ограничения возлияний. Чинский – напротив. Сане поставили малый гранчак, а Олексе – нет, к ночи ему садиться за руль. Хозяева устроились так, чтобы удобно было колебаться к печке и вставить «до клуни». Впрочем, какое-то время дети в углу занимались собой, то есть малыши все подавали и подавали мне. Я ел и ел.

Старшие огласили:

– До вашего здоровья! – и дружно выпили. Шофер глотнул сухую слюну.

Я поднял голову полчасика спустя, когда отец громко, видимо, после второй, скомандовал:

– Олекса! Прими на плечо. От имени меня!

В таком угаре смачных котлеток-шкварок, маринованного, моченого трудно было не исполнить приказ с первого раза. Но шофер держался.

– Олекса! Пей. Я сам сяду за руль...

Командир смаковал уже третью и явно не последнюю. Тем не менее, Чинский со вздохом покорился.

Веселые хозяева запели:

*Ой, у поли нывка,
Кругом катерынка.
Там дивчына жыто жала,
Гарна чорнобрывка!*

Дети выбегали на морозный двор, под навесом собирали квельый снежок, убегались, вспомнили о поджарке, о которой еще год назад, в голодуху сорок шестого и седьмого, не знали, как и мечтать, и вернулись за стол.

В хате звучала уже тягучая, горькая, с открытым упреком песня:

*Як поухав Иван на филянську войну,
Та й оставив Катэрыну на хазяйстве саму...*

Пел один хозяин, сурово, пронизывая взглядом гостей и окончательно упираясь в супругу. Захлебнулся, сжал грудь, то есть «твинчик», телогрейку и тряпицу-шарфик под за-слюнявленным подбородком, в кулаке, в глазах обильно блеснули слезы. Он утратил певческий голос и досказал прозой:

– Пришел обмороженный, запуганный и беспальный, а его у двори зустричае Катэрина. Та нэ сама – на руках ее малэньке дытя... – И горячая слеза упала в полный стакан.

Мой отец тер лоб и вникал в ситуацию, по службе он обязан делать выводы и принимать меры.

– Отуда на хер! – сказал он, не в состоянии охватить объем информации.

Я хоть и недоумок, но со своего угла выражаю нетерпение:

– У нас по «Живой природе», чтобы уродить, надо девять месяцев, а финляндскую кампанию воевали... три... Коты, что ли?!

– То шо, это я брешу? – занижает тон хозяин Иван. Тут же, встретив мутный, отсутствующий и потому непробиваемый взгляд Семеновича, на той же ноте, но чуть оговариваясь, выдает: – Пусть я брешу. Но песня же брехать не может... От послухай:

Як поухав Иван на филянську войну,

Та й оставыв Катерыну на хазяйстви саму...

И тянется сжатым кулаком к лицу супруге. Катерина померкла, глаза и щеки сразу запали, вышиванка без прикосновения смялась. Она тихо заскулила. В унисон ей завыли дети ее рядом со мной. Сильнее всех меньший, Иван, он и уродился после Финской кампании. Да так занозливо подвывал, что и мне захотелось всплакнуть.

Я тогда, в самый идиотский период своего земного обитания, понял, что в этом доме живет какой-то ритуал. Тут первый артист, Иван-отец, по пьянке заводит игру, семайка его обязана участвовать. Может быть, у кого-то ос-

танутся фингалы, кто-то переночует у кумы. Такая художественная самодеятельность.

– Я тебя, Иван, не понимаю, – как бы подтверждая мои простодушные догадки, поднимается Олекса Чинский. – Отскоко я у тебя пью, стоко ты ставишь одну пластинку. От Семенович, вы человек с верхним образованием, хоть институтов не кончали. От вы откройте ему глаза.

– Открой глаза! – куда-то в потолок командует отец.

– Слухай, Иван, – качался и опирался о стол Чинский. – Ты различаешь своего младшенького? Он же две капли воды – ты!

– И опять я брешу!/? Ну шо, шо вин – цэ я? Ну шо?!

– А то, что ты оставил Катерину на хозяйстве с брюхом. Того в песне не поется? Дурной тебя поп крестил!

– Ну шо? Ну шо?! Уси тут против меня. Думал, хоть в праздник поймут...

Свое слово сказала моя мама, женщина определенных правил:

– Так, Семенович, сынок, собираемся.

Завыла Катерина:

– У Ивана пройдет. Он такой тихий. Все в хату несет. Это не он, это самогон за него плетет!

Иван бушевал, опрокидывал стаканы. Отец пытался встать на протез, упал. Олекса подхватил его и повалил на себя.

– Домой сию минуту! – Это мама.

– Кто же повезет? – вне себя рыдала Катерина.

– А вот этот... шибздик. – Олекса уже поднялся и ставил на ногу отца. – Он по селу рушал с места, рулил, то уж степью...

– А ты не можешь? – мама терзала Чинского.

– Могу, только завтра, как просплюсь. Та я натаскаю шибздика. Чуть-чуть, самим основам. Слухай! – И, толкая меня в дверь, быстро-быстро читал, словно заговор или волшебное стихотворение: – Кривошипный механизм служит

для превращения линейного движения поршня во вращательное движение коленвала... Остальное – по приезду домой...

Кто кого куда тащил, что кому говорил, я уже не помню. В кузове вповалку оказались оба мужика и Саня. Я за рулем, а мама моя – рядом.

– Два дурака все надежней, – объяснила она свое присутствие.

Я громко рычал всеми тридцатью пятью лошадиными силами, пока выбирался сквозь широкие ворота. За спиной звенело уже в два голоса, Ивана и Катерины: «Як поухав Иван на филианську войну, та й оставив Катэрину...»

Я благополучно довез праздничную компанию домой. И тем был благословлен водить автотранспорт с неполных семнадцати лет. А вот Иванов да Катерин так никогда и не пойму. Потому они интересны мне и подпитывают меня...

9

У крошая раннюю тягу к женщине, мой герой к восемнадцати годам пришел к тому выводу, к которому старик Фрейд достучался к сорока.

«Все труды и подвиги на земле творятся только ради того, чтобы дорваться до Нее, болезной». Формулировка списана у маэстро, потому взята в кавычки. Хотя до него мысль такую высказывали более миллиарда мужчин и публиковало ее не меньше миллиона авторов, умных и глупых. С годами, познав прелести дружбы, любви и семейной жизни, наш автор добавит: «Чем недоступней женщина, тем большего достигает мужчина».

Так вот следующим шагом к женщине у Малярова была попытка прославиться. Как? Поступить в театральный институт, протиснуться на съемочную площадку кино и – дуры у ног! Признаться, ему сильно претила фальшь и на эк-

ране и на сцене, он уже понимал, что тексты для молодых и красивых пишут лысые и морщинистые старики, что во всякой, самой интимной, сцене должна быть партийная идея. Это никак не вышло с его видением жизни и жаждой рассказать о ней правду.

Слабый голос и чешский гонор помогли ему провалиться на актерском факультете. Но парень понравился тем, кто читал его автобиографию и прочие бумажки, где видны мозги и стиль. А великий артист и пьяница Юрий Шумский посоветовал Малярову идти на театроведческий факультет, научиться вкусно думать и строить фразы, потом переключиться на совсем новое дело – на отдел телевизионных режиссеров. Там, мол, окунешься в подлинную, а главное, в новую жизнь.

Так и сложилась биография художника. Была бы она легче и лучше, но взявший его за руку Юрий Васильевич менее чем через год умер. Пришлось без мудрого советчика плутать, спотыкаться и чуть ли не быть изгнанным из престижного института.

...Я не знал, что в погожий зимний день в Кремле Никита Хрущев за замкнутыми дверями прочел доклад о сталинском терроре. Услышал на бульваре Шевченко вопрос от артиста Сиренко:

– Ты знаешь, что Сталин – враг народа?

Не вникая в суть, отвечаю:

– По-моему, только Сталин и определял, кто враг народа.

– Дурак. Он казнил ни за что тысячи людей. Морил в лагерях миллионы...

Я почувствовал прилив слабости и мути, какие приходят ко мне в минуты полного непонимания, что творится вокруг меня. Это похоже на паралич ежота: забыться и не участвовать в игрищах судьбы. Когда мир вокруг прояснился, Сиренко уже слинял. Гнев, реакция на постоянную подавленность души,

бравата от того, что я первый узнал непостижимую здоровым рассудком истину, толкнули меня на люди. Куда? В аудиторию.

Стою среди своих, тут же вспоминаю ночные реплики из соседней комнаты, где Анна Степановна обычно слушает по старому радиоприемнику «Голос Америки», пытаюсь ухватить новости с течением бытия в прежних берегах.

– Сталин – враг народа, – повторяю в отупении. – Власть держится на насилии. За такую власть не пойду воевать. Нам лгут. – Не кричу, упиваюсь выражением гнева. Не столько от своего имени, сколько от всякого знакомого мне селянина, по давней привычке подражая его словам и его настроению, как я его понимаю. – Недаром дед Назар говорил: коммунисты все брехуны и бляди.

Аркадий Косинский, высокий, спортивного сложения еврей, долгим взглядом оценивает меня, первое побуждение его – порадоваться, но страх – не тетка. Уходит в угол, садится и вперивается в окно. Лида Снегур вдруг бросается к стопке книг и роется, роется. Полная аудитория кажется опустевшей. Только Коля Бондарчук вертит пальчиком у виска и произносит:

– Тю!

Пауза длится три минуты. Входит скрипучий, ироничный Дмитрий Леонидович, которому ко дню рождения я посвятил эпиграмму:

Про доцента Соколова
Я скажу всего два слова:
– Сущий ангел! – Но, однако,
Согрешил повторным браком.

Расставляются эскизы костюмов времен Людовика четырнадцатого. Развешиваются парики, колеты, кринолины, в которых некогда кишели блохи. Даже скребки, которые аристократы носили в петельке на кистях рук, чтобы почесываться.

Скрипит только добродушный педагог, остальные, по моему, не дышат. После звонка у каждого находится срочное дело; аудиторию словно выдуло из брендспойта холодной химизированной струей. Над людьми нависает опасность. Понятно. У Жени Мокроусова отец владеет хозяйством огромной киностудии, под Новый год пьет шампанское из тужельки кинопримы, Женю кормят птичьим молоком. У Тадика Павленко квартира в центре столицы, одна комната – сорок квадратных метров. У Лиды Снегур папа академик. Митя Кучерюк и Коля Бондарчук только переступили порог Киева, зачем же рисковать?

Вдруг осознаю, что Славы Божика нет. Был и нет. Уже несколько дней. Шептались в пролетах, что отец его при немцах служил старостой села; Слава скрыл это при поступлении в институт. За убеждения отца парня изгнали. Несколько дней назад это было понятно и нормально. Сейчас у меня в голове такое не укладывается. Я пугаюсь своей правоты. Раскаиваюсь. Сожалею про себя о вспышке гнева перед лекцией. Готов замять дело, пока не прояснится... Тут меня вызывают в комитет комсомола к Ивану Казнадю.

В продолговатой комнате, где недавно размещался кабинет истории театра, стоит стол-пенал, сейф и знамя с орденами – хозяйство молодежного вожака, которому за тридцать. У входа – бюст Мольера в натуральную величину. На гипсовом парике – шляпа Ивана, надвинутая на глаза гения театра. Из этого возникает представление, что комсомольский работник куда выше драматурга, режиссера, актера, в общем – классика.

– Здравствуй... – начинаю я с легкого дыхания, как бы не подозревая беды.

Выразительные глаза матерого четверокурсника ох как не одобряют моего присутствия не только в кабинете, но, пожалуй, в природе вообще.

– Твой комсомольский билет.

Машинально достаю красную книжицу, подаю. Сгруппировался, хочу сесть.

– Ты свободен. Завтра у вас групповое комсомольское собрание.

Иван отворачивается к сейфу, прячет мой билет в стол, словно захлопывает над ним крышку гроба. Режиссер ведь... Оторопь делает мои ноги ватными, по кистям рук полыхает горячая дрожь.

– Иди... Иди, – слышу с того света.

– Куда? – пробую идиотски улыбнуться.

– Завтра на группе расскажешь, куда ты собирался идти и куда не пойдешь ни за что... Разумеется, если тебя станут слушать комсомольцы.

Слушать меня не стали. Лида Снегур красиво возмущается, как группкомсорг повторяет то, что группа слышала: Вилага приносит в аудиторию несусветные сплетни. Незрелый он человек! Аполитичный! Парторг Яков Павлович поднимает по очереди слева направо сокурсников. Те одними и теми же словами поносят мой поступок, меня как личность. Во всем видят злой умысел. Коля Бондарчук пробует успокоить: «Коля неправ, но он стал жертвой болтовни других...» Рядом зашикали в три голоса: «Что это за убеждения, если он поверил в эдакий навет?» Бондарчук садится. Больше защитников у меня не находится.

Я обижаюсь на себя: а ведь я тоже не поинтересовался, куда исчез Слава Божик... Полтора года проучились рядом, обедали, готовились вместе, зла друг к другу не питали, и вот он исчез, а я не шибко интересуюсь, где он и что с ним...

– Завтра, после занятий, зайдите в приемную директора, – говорит Яков Павлович, прощально отпевая меня.

Перед утренней лекцией со мной никто не разговаривает. Как-то все припаздывают, бросаются на свои места не здороваясь. В сперттой атмосфере аудитории носится настроение: ушли Божика, уйдут Виладу – и перебор закончится; остальными станут дорожить.

Новый критик Борис Кириллович раздает наши пробные рецензии.

– Первым читает Вилага.

Едва разбирая мной же написанное, мямлю, спотыкаюсь на словах, вздыхаю.

– Стиль хромает, – начинает обсуждение преподаватель. – Познания ничтожные. Чтобы учиться на нашем факультете, хорошо бы закончить гуманитарный вуз.

Я с ним согласен, тем более, что понятие «гуманитарный» я еще не твердо освоил. Женя Мокроусов удручен моим слабым языком. Аркаша Косинский неуклюже вворачивает о своем дипломе физкультурника. Борис Кириллович с нажимом, уверяя в полной заслуженности оценки, говорит:

– Плохо.

После лекций меня ведут к директору. Ведет Раиса Денисовна к Семену Михайловичу, те люди, что, по звонку Юрия Шумского, подыскивали мне местечко в институте.

Директор не хочет меня принимать. Завуч протискивается к нему, минуты три проводит в кабинете при полном молчании. Выходит красная, с испариной на лице, ворчит: «Этого мне еще не хватало!» Пробегает мимо меня, скрюченного на мягком стуле, спохватывается, бросает через плечо:

– До завтра... – и исчезает.

Я сижусь еще сколько-то времени, по-стариковски опираюсь локтями на колени и встаю. Чемоданчик забываю на соседнем стуле. Коридор пустой, вымер, на лестничных клетках ни души. За дубовой дверью с пудовой медной ручкой – Крещатик. Ползет пустой троллейбус. По тротуарам кое-где бредут люди. Да что это? Киев эвакуирован?!

Тревога забирается в каждую пору тела. Отвлекаю себя, думая о творческих штампах. Мол, в кино, когда слезы текут из глаз героини, обязательно пускают в кадр дождь. Когда человек подчеркнуто одинок, вокруг него – ни души. Не только в кино, в литературе тоже, даже у Достоевского, в

«Записках из мертвого дома». Только приبلудный лагерный пес подошел к заключенному. Утешение слабое.

Из-за спины возникает тень Исаака Лозинского: «Шибздик, ты еще на свободе?» Потом чудится угроза отцу. Чепуха, кому нужен инвалид из замызганной тракторной бригады? Вспоминаю зиму, когда при падении директора, при семейных терзаниях отца, я один послужил ему душевной опорой: отличник столичного вуза, избавитель от наваждений жены. Можно ли сказать ему о моем падении?

В промозглом парке, под святым Владимиром, сажусь на скамью. Думаю о всегдашней помощи молитвы... Недодумаваю до конца. Корчится лицо, скатываются по щекам слезы. Считаю ветки на каштанах, выбираю подходящую для петли. Опускаются сумерки... Да, но я до того беден, что и удавиться не на чем. Морозец забирается под мышки, подсказывает: побегай, согреешься и развеешься. Встаю, бегаю по ступенькам у фуникулера – вверх-вниз, вверх-вниз. Всплывает желание поделиться горем, читал в Святом Писании: разделенное горе – полгоря, разделенная радость – двойная радость. Радости быть не может: у меня нет ни одной живой души, к кому бы я пришел со своей бедой. Я один в Киеве. Прежде был занят и не замечал, теперь свободен и убеждаюсь...

Спускаюсь по крутой тропинке. Взгляд все еще подбирает надежную ветку. Хорошо бы доступной была, чтобы привязаться, и высокой, чтобы не дотянуться до земли, когда от боли передумаю... Первый смешок на минуту отрезвляет: пошло ведь все это, всякий висельник вот так куксится, ищет ветку, колеблется. Наивный и неотесанный, я, сколько себя помню, боялся походить на первого встречного, на большинство. Все та же селянская гордыня. Хотя сильно хочется знать, как поступают другие в моем положении.

Идут, просят. Но кого? Сокурсников? Казнадия? Директора? Всплывает эпизод двухлетней давности. Зачисленная на

первый курс красавица по наущению матери понесла директору «благодарственный конвертик». Надо было слышать рев изюбра, рычание льва и нечленораздельную истерику в кабинете Ткаченко! Семен Михайлович порядочный человек. Но о чем его просить? Что сказать? Что высшая власть убивала невинных? Интеллигенция об этом знала, и чем жестче велась расправа, тем выше возносила хвалу вождю? А я, простак, узнал про это три дня назад, сказал, что думаю, и – спасите меня от правды! Пощадите мое простодушие, человечность! Не казните чувство к добру, сострадание.

Темнеет. Крещатик словно вымело. Пытаюсь объяснить безлюдье просто: рабочие вернулись домой, ужинают, парочки попрятались от мороза. Но и вчера было холодно, а люди были на улице. Входная дверь института не заперта, как в доме покойника. Поднимаюсь на четвертый этаж, в свою аудиторию. Сажусь за свой столик, опускаю голову. Оказывается, на свой чемоданчик. Подобрали, чтобы не искал страдалец, или швырнули вслед, да так, что он долетел до моего столика?..

Сунул ладони к глазницам, плакал в горсть, спал на привычном сиденье.

Утро не стало мудрее ночи. Так же до звонка не вошел ни один сокурсник, а потом сразу все вломились за критиком Борисом Кирилловичем.

– Сели, – как-то по-новому частит преподаватель. – Я в прошлый раз был слишком строг. Рецидив профессии. – Вытаскивает листки машинописи, смотрит на меня. Улавливаю искорки в уголках глаз, напоминающие нашу первую перепалку. – Вот здесь подробный план, как бы я сочинил рецензию на вашу премьеру. И вообще на стоящий спектакль. Вот тут образцы цитат.

Идет за мою спину и кладет листы перед моим носом.

– Если это не поможет, уж извините, обещанное «неуд» переключает в ведомость. Два дня на переработку, – заканчивает весело.

Не понимаю, хорошо или плохо для меня то, что проделывает Борис Кириллович? Смогу ли за два дня?.. И кому нужна моя первая и последняя рецензия в Мариновке?

И, тем не менее, тон критика подвигает меня зайти на большой переменке к Ивану Казнадю. Что-то да скажу, объяснюсь, как говорят в недавно читанных пьесах классиков. Толкаю дверь – шляпа на голове у Мольера, значит, вождь за столом. Жестикулирую у окна трое: он и две старшекурсницы. Замираю, даже не мигаю. Боюсь пущего позора – одна из девушек, Дина, на репетиции показывала на мне, как надо целовать, и делала это смачно, до замиранья сердца, до возбуждения...

– А-а, Вилава, – рассеянно смотрит куда-то мимо меня Казнадий.

– Да, – подавленно, прорываясь наружу, хриплю с порога.

– Билет забрал?

Новости! Мимо страха и жажды покориться, выпросить – из меня прет что-то несдержанное, злое.

– Кто у кого должен забрать? – спрашиваю.

– Ты у меня.

– Это ты у меня забрал... да с зубовным скрежетом...

Девушки нетерпеливо ждут, когда секретарь покончит со мной. Дина Лученко видит во мне только помеху, а недавнего партнера по поцелую забыла.

– Вечно с этими салажонами! – кривится Иван, хотя твердо помнит, что я уже не первокурсник.

– Давай как-то развяжем эту беду...

– Вон на папке. – Даже не добавляет: возьми, или: чтобы это было в последний раз. Нет, находится-таки: – Взносы забываешь платить!

– У меня уплачено. Ты спутал...

– Ладно, ладно, видишь, занят...

Все трое отворачиваются от меня. Стою колом, хочу знать: это куда же поворачивается дело? Если выгонять собираются, сажать, то билет не возвращают. Снова становлюсь тупым селянином: хочу простых и ясных слов. Возмущаюсь и паникую в одночасье. Придумываю управу на Ивана. Я до того лишний в кабинете, что Дина вприпрыжку подходит ко мне, в своей блядовитой манере притирается грудью, приобнимает на мгновенье и шепчет:

– Кока, тебе же изысканно дали понять: пошел вон!

Чмокает в щеку и сильно выталкивает в коридор. Я сбит с толку, киплю. Застаю себя в приемной директора. Хочу знать: что со мной? Чего ждать? С кипой бумаг пробегает Раиса Денисовна.

– Коля, привет! Чемоданчик свой нашел?

Что-то новенькое! А как же вчерашнее: после лекций?.. до завтра?..

– Нашел, – едва успеваю вослед, да ей мое имущество до лампочки.

Опускаюсь на вчерашний стул, мягкий, бурачкового отлива. Дождусь директора, Семена, пусть он сам выставит меня из института, нечего загребать жар чужими руками! За спиной приоткрыта дверь заместителя директора. Слышу бари-тончик его, тоже Николая, как и меня, только Ивановича:

– Что происходило в стране, мы знали. О разоблачительной речи Никиты Сергеевича в Кремле слышали в передаче врагов. Но не имели указаний сверху, как реагировать! Ха-ха! – Дробный смешок, доверительный хлопок по невидимому плечу: – Вечером зачитали письмо ЦэКа. Закрытое. Прозрели!

В минуты, когда читали письмо-откровение, я мог болтаться на каштане. Холодеют кончики мизинца и безымянного пальца на правой руке. В глазу справа появляется слабо накалившийся волосок электролампочки. Расплывается, об-

разуя солнечный зайчик. В черепную коробку сыплется битый кирпич. Тупею, немею, не чувствую дрожи, а дрожу. Не-что подобное со мной случалось в шестнадцать лет, причи-ны не помню, да в Мариновке на всякие «приступы» никто не обращает внимания. Придет и пройдет. В приемной же со-бираются люди. Секретарша, гость заместителя Николая Ивановича, потом сам заместитель, – вижу размытые, не-реальные фигуры, перестаю узнавать. Кто это говорит:

– И пена... и глаза на мокром...

– Ну и темперамент! Вчера забыл здесь свой чемоданчик, пришел, нет – и истерика!

Возразить не могу, отнялась речь. Льют на голову из графина, дают с ладони таблетки, глотаю, нет ли – не соз-наю.

– Теперь везите домой.

Я могу встать на ноги. Узнаю директорскую машину. До-рогу в сторону Воздухофлотской. Особнячок. Стучат, никого. Я радуюсь, мое лицо перед хозяевами сохранится. Указываю пальцем под бочонок – ключ. Укладывают на тахту в све-телке, уходят. Засыпаю.

К концу дня входит прямо с улицы Анна Степановна. Стоит, успокаивается. Спускаю ноги на ковер.

– Бледный, – говорит врач с маминой улыбкой. – Выжа-тый лимон. – Плутовато и мудро грозит пальчиком. – Это твоя первая ночь? Не тушуйся, когда-то надо же начи-нать. Только помни Экзюпери: мы отвечаем за тех, кого приручаем.

Начинаю привыкать, что люди видят мою жизнь совсем не такой, какой она есть. Интересней, богаче. Даже эта славная женщина уверена, что я был у любовницы. Всех не разуверишь, придется подыгрывать.

Она одобительно хихикает:

– Выпей горячего молочка и – спи дальше.

(«Престижный студент»)

*У*тобы вынырнуть из Мариновского невежества и непременно обогнать всех сокурсников (их к третьему курсу оставалось семь), Маляров с первых дней не пропускал лекций. Достал пропуск в публичную библиотеку и высиживал там все выходные, каждую неделю посещал театры столицы (благо – для студентов театрального института вход свободный). Больше коллег надоедал педагогам вопросами. Поначалу слыл «почемучкой», но вскоре становится эрудитом и отличником – память, память. Бог подарил парню для спасения ищущей души редкую память!

Но втайне он учился не театроведению и не телевизионной режиссуре. То и другое он осваивал, но вскоре стал посмеиваться над заданностью, оторванностью от жизни и фальшью и критики, и всего телевидения как нового медиа... Тяга к прозе и драматургии заполняла его душу.

...В театральном институте приколы, розыгрыши, капустники – в большом ходу. Старшекурсники добывали костюмы преподавателей и гримировались под какого-нибудь зануду-историка КПСС. Зал покатывался, когда «выкапанный» Яков Павлович со сцены, как с кафедры, требовал, чтобы студенты подчеркивали в учебниках мысли вождей красным карандашом, и демонстрировал страницы сплошь червонные. В общаге под святцы красили спящему коллеге самые укромные места, а потом, в чистый четверг, в бане объясняли изумленным посетителям, что это их дружок приготовился к Пасхе. Да, жестоко.

Со мной однажды, под Новый год, хватили через край.

Валентин Десятерик знал, что я неисправимый графман. Не пью, не курю, даже с девушками не встречался до третьего курса – все писал. Рассказы, кино- и телесценарии. И рассылал по газетам и студиям, все уповая на авось!

Под Новый год он кликнул меня в администраторскую на второй этаж и вручил телефонную трубку. Из благословенной дали, громко так, что и дружок, стоя рядом, мог слышать, раздалось:

– Это такой-то?

– Да...

Солидный и усталый голос вежливо сказал:

– Это с киностудии Довженко. Мы тут прочли ваш сценарий. – И, сделав впечатляющую паузу, оживился: – Знаете, нам сильно захотелось с вами побеседовать. Не смогли бы вы прийти в сценарный отдел, это Брест-Литовское...

– Да знаю, – задрожал я от надежды и страха. – Когда зайти?

– Ну, хоть завтра, к шестнадцати. Вас устраивает?

– О, да... Сразу после третьей пары поеду!..

В трубке щелкнуло. Валентин вдохнул широкой грудью и замер:

– Ну, ты, классик, даешь! Я все слышал! С тебя причитается.

– Ради Бога... ради Бога...

В дверях чудом оказались еще Алим Галеев с актерского и Аркаша Косинский. Последний перехватил реплику:

– Так коллега теперь богач!.. Сегодня обедаем в ресторане.

– Я того... – с готовностью соглашаюсь. – У меня всего два червонца. Но я перехвачу сотню до стипендии.

– До гонорара, голубчик, – вставил Десятерик. – До крупной суммы. От стипендии ты теперь можешь отказаться в пользу сирот Монголии.

Разумеется, отныне я при деньгах. Лида Коломиец за «Долю Марины» получила сто двадцать тысяч рубликов. А фильм-то квеленький. Мне дадут не меньше. То ли сам я это подумал, то ли услышал от однокашников – в таком смятении не скажешь наверняка. Меня держали под ручки. Водили от кассы взаимопомощи к богатенькому Коле Бондарчуку,

собирали, с кого сколько можно, потому что за мной возрастал шлейф ликующих и одобряющих приятелей. К ресторану подошло девять человек, все голодные и жаждущие хмельного. Обзывали Шекспиром и Тобилевичем, отзывались на каждый мой чих. И пили-пили, ели-ели...

Ночь я не спал. То мечтал о славе с самого конца, с завершения съемки фильма, то подсчитывал, сколько придется отдать долга и сколько останется. Кредиторам – сотни, активы же у меня – десятки тысяч! С этого Нового года я положил отпустить повод и пойти по девушкам. Сколько можно воздерживаться! Да при деньгах оно и неприлично. А ребятам я устрою настоящий выпивон, особенно первым добрым вестникам!..

С третьей пары я сбежал. Добирался по бульвару Шевченко и по Брест-Литовскому шоссе зайцем: не было монеток даже на билетик. У проходной седой упорный старик остановил:

– Ваш пропуск.

– Я в сценарный... Меня пригласили...

– Выпиши пропуск.

Вот так на «ты» со сценаристом! Ладно, расквасишься, когда приглашу на просмотр и угощу кружкой пива. Взял пропуск не без труда: а кто вызывал? а почему нет на вас заявки? Оставьте паспорт...

Потом пошел по коридорам. По павильонам. Снимали два фильма. Знаменитости, от Дружникова до Милютенко, натыкались на меня, но я смотрел через их головы, только слегка кивал, как равный, но физически чуть выше.

Наконец нашел дверь главного редактора, Владимира Сосюры, но младшего. Его супруга, Люда Костырко, в прошлом году закончила наш актерский. Ее я кое-как знал, но не предполагал, что ее осчастливит такой человек, – и не сблизился. Вечные мои зевки!

Сосюры не оказалось на месте. Секретарша отправила в сценарный отдел. Инвалид войны Сизоненко столкнулся со мной в дверях, развел руками и на красивом украинском языке отфутболил к некой Саниной. Может, она что-то знает, старик не в курсе. Он работает с маститыми. А там, у Саниной, начинающие. Возмутительно, каждый указывает мне местечко пониже – начинающий! Ничего, одумаетесь, когда успех будет в кинотеатрах, а то, гляди, и на фестивалях.

Ждал за перегородкой, у кабинета с потертой дверью. Возносился и ниспадал духом, честил чиновницу, которая сама ни черта не умеет сочинять, так хотя бы уважала художников слова. Потом готовил выражение лица, подобающее первой встрече с дамой, которая, возможно, первая оценила мой сценарий.

Пришла припудренная коротышка с копной шиньона, сдвинула плечами на пороге:

– Не вызывали мы такого. Вообще у нас принято отписывать... А-а, вы такой-то?! – И, не дав вспыхнуть новой надежде, добавила: – Хорошо, что зашли, заберете свою рукопись, чтобы не отсылать по почте. – И подала тонкую стопку с резолюцией красным в углу и росчерком ядовитого оттенка: «Возвратить!»

И в это же мгновение с меня слетела летаргия. Я узнал слегка искаженный голос по телефону: Славка Божик. Он в ресторан пришел последним и все молчал, чтобы не вызвать подозрения. Ясность ледяная. Где был мой ум раньше? Новый год ведь на носу! Институт ведь из дураков собран!!

Всхлипывать я начал уже в прихожей. Сзади слышал нечто вроде: ну что вы, ну разве можно из-за первых неудач?.. Я побежал, чтобы до меня не долетало дежурное сочувствие. Сами достают – и тут же сочувствуют...

Уже за воротами в голове клубились проекты мщения. Подраться? Скажут, болван, ведь разыгрывают и пародируют, чтобы исправить недостатки, ложные увлечения, не-

нужную трату сил... Но ведь кучу денег на угощение положил. Где взять, чтобы вернуть, стипендия-то менее трехсот рубликов. А жить с чего?..

Я не пошел ночевать в общежитие. Попросился к знакомой старухе на одну ночь. А утром прилизался, побрился чужой безопаской и, гордо приготовив ложь о непосещении мной киностудии, готов был посмеяться над затейниками.

Ложь моя оказалась на коротких ножках. Первый же встречный – Тадик Павленко с моего курса – выставил свои зубки-лопатки:

– Ну, как тебя принял сынок великого Сосюры?

И я потух. Повернул прочь от общаги. И куда теперь? В столовую бы, так не на что пожрать. Завалиться бы поспать с горя, так ни одного знакомого с ночлегом в столице больше не вспомнил. Хорошо, что зачеты получил автоматом. И до шестого мог не заглядывать в институт. Вернулся к старухе.

– Можно еще пару ночек?

– Тебя что, побили?

Хорошенький вид у меня! Но я был горд и если чувствовал, что не устою в драке, не ввязывался. Промолчал.

– Ладно, живи, пока образина станет на место.

Ну, баба, ну, змея! И видит насквозь, и определяет фольклорно.

Шестого был экзамен по эстетике. Но был и канун Рождества – снова вспышка розыгрышей. А уж воспоминаний и трепя об удачных приколах – дай Бог! И тут про меня выдаст каждый второй. Хоть бери академотпуск...

Все же я пришел на Крещатик, 56, то есть в институт. На пороге тот же Тадик с улыбкой лопаткою:

– Тоха, тебя ищет Судеец.

Странно! Судеец – это педагог третьего режиссерского, отставная жена главного маршала авиации. Но я тут при чем? Я на четвертом...

– Там какой-то сценарий или одноактовка...

Павленко не закончил. Я послал его матом:

– И ты туда же, а еще сынок адвоката!

– Тоха, не дури!

И дерзко сгрёб меня за руку, потащил на второй этаж, в учебную часть. Судеец, седовласая, подкрашенная матрона, скороговоркой, как всегда, чтобы за жизнь успеть сказать все, что она знает, приветствовала меня:

– Вы знаете, что я параллельно режиссирую на телевидении?

– Знаю, – сразу отозвался я, хотя ни черта такого не знал.

– Так вот, в художественной редакции решено поставить вашу короткометражку «Співомовки Руданського».

Не поднимая рук, не пряча лица, я заплакал. Истуканом стоял и ревел.

Женщина была матерью и учителем. Она плавно поднялась, своим душистым платком промокнула мне глаза и говорила, говорила:

– Я хорошо поставлю вашу пьесу. Она стоит того... Когда у меня в молодости получился мой первый спектакль, я тоже плакала...

Через полтора месяца была премьера. Руданского играл народный артист Аркадий Гашинский.

Неделю спустя я получил свой первый гонорар. Отдал долги. И пригласил всех своих издателей на маленький банкет. Деньги ушли до копейки, но с тех пор я поверил в святочные рассказы. Даже если в них идет речь о старой кляче, под Новый год проклинающей свою долю в оглоблях и вдруг получившей утешение... На живодерне.

(«Святочная быль»)

Чтобы модно одеваться, как столичные фраеры, Малярову не хватало стипендии, совсем недоставало той мизерной помощи, что ему присылали в торбах. Приходилось в летние каникулы искать приработки. Доступней всего было далекое село и баранка грузовика. Там можно не только получить на костюм, шляпу и башмаки, но и обогатиться житейскими впечатлениями.

Голованевские степи. Лес, запущенные, снулые озера. Тут живут «буцы», не скорые на руку, не шибко идейные. Потому сохранили и зелень и плотины. Водятся аисты, карпы, даже дикие кабаны. Процветает самогонование, как же – свекловодческий край!

Полу-чех, полу-хохол дядя Ладим дальше своего района не бывал, не сбит с толку национальными и классовыми вывихами. Озирает меня на фоне жнивья, прикидывает, что этот батрак сможет у него заработать за месяц-полтора, и заранее бранит:

– Выучишься, сядешь одной жопой на весь кабинет, и такого, как я, в твынчику и с мазутом под ногтями, на порог непустишь. А пока прибыл ко мне на поддержку штанов, слухай. Права есть?

– Есть, только...

– Неважно. Тут на сто верст кругом некому спросить.

– А уполномоченный?

– Уполномоченный макает хлеб в горилку в моей хате. Будешь возить вот на этом «газоне». От комбайна на ток – днем, ночью – с тока на станцию.

– А на станции контроль...

– Там Саврадым. Я его, падлюку, грудью вскормил. Чего я хочу? Я хочу, чтобы ты не холку наедал, а на матню заработал, чтобы было куда пукнуть. В столице надо смотреться

культурно, разблядь его мать. Батько у тебя калека, да еще поперли с должности. Когда ему заплатят в бригаде? На Рождество? А три девки в господе, одна на выданье! Еще и ты? А ну – за руль, и ни дня, ни ночи! В обед похавашь в бригаде – полчаса, повечеряешь на заходе солнца – еще полчаса, с двух до пяти, пока роса упадет, поспишь вон в той копне и – за баранку! Молодой, выдержишь, зато приаппаратишься, глянешь таким хером, что всякая киевляночка почешется. Каждую третью ночь поспишь в крайней хате, там Катря с мамкой горюют...

Белобровый, выгоревший телом и робой уже к июню, отощавший, с паутинками вен на скулах, дядя Ладим окатывает меня своей энергией. По должности он заведующий гаражом, но говорит про себя, что он «всем сракам опияка», то есть замена всем, да еще заблаговременная. Вместо председателя дает наряды, вместо бригадира подгоняет и кормит механизаторов, подсобных, всякого заезжего. Отбивается от уполномоченных и контролеров, составляет договора, спаивает, кого надо, перевязывает поранившегося, передает взятки нужным людям. И все на голубом глазу, с кристально чистой совестью. Зарабатывал он столько, что можно было хутор купить, а получал – едва до нового урожая хватало.

У головы правления было свое имя, у парторга и бригадира – свои. Но Емиловка, Троянка, ближние и дальние хутора – знали Ладима. Чарку нальет, совет даст, пристроит, отстоит перед начальством, обложит матом. Да все по делу, по-братски, не обидишься. Дальше Ладима и ходить не надо.

– Кугуты! – орет он через межу. – Включай зажигание! Буцы! В жнива день год кормит! – покрикивает свысока, без разбора, кто ты есть: в замызанной фуфайке или в приличном пиджаке. Как же, отец его был не товарищ Плечко, а пан Плечка, управляющий огромным именем. Заморили его, когда Ладику и года не было. Но какой богатый был да знат-

ный пан Плечка: на паре выезжал, прислугу держал. И вокруг него достаток распространялся.

Талант отца передался сыну, только в наше время, чтобы разумно вести дело, приходилось служить холуем, лгать, воровать. Ладим при всем при этом ухитрялся держаться с гонором и юмором. Мудрец наших дней сознавал, что все разваливается, раскрадывается, тонет в самогоне. В грязной кабине, проверяя мою удадь за рулем, оглядывает степь, покосившуюся плотину, дуплистые ивы, говорит глухим, не свойственным ему тоном:

– Замолоду думалось: отсталость наша – большая удача. Другие страны срубят леса, разворoshат недра, выпьют воду и уже будут друг друга жрать. В Украине же через медлительность и отсталость земля сбережется и хватит нам на потом и еще на потом. Ноев ковчег... Да вижу, гноим леса, отравляем воду, землю мордуем без тямы, засираем химией... И не пожили как люди, и угробили неньку Украину... Люмпены, а не хозяева, живодеры, разблядь их мать!..

...День как день. Догоняю комбайн, неумело подставляю борт под выгрузной шнек, зерно просыпается на жнивье. Ни одна живая душа не обращает внимания. Качу поперек поля, утрамбовываю гумус. А надо бы сразу выскакивать на проселок, ведь земля живая, хватит ей восьми колес уборочного агрегата. Экономлю время и бензин, это мне зачтется в бухгалтерии. Прямиком пересекаю утлую плотину, уродую ее, бьюсь крыльями «газона» о роскошные побеги плакучих ив, очесываю их. Не видит дядя, он бы объяснил мне в три этажа, что таких вот толмаков у него в селе своих хоть пруд пруди!

Ладно, следующую ходку сделаю по дороге. Решаю и тут же забываю.

Раз уж отважился человек в короткий срок заработать на костюм, обувь, футочку – черт с ним! Не я один гажу и не слишком много добавляю ко вселенскому злу, узаконенному с дней раскулачивания.

После четвертой ходки обед. За шатким длиннущим столом, с ножками накрест, хлебаю борщ. Полеводы поели, студентки-сезонницы тоже. Я один не церемонюсь, глотаю не жуя. Воду пью из огромного клепаного ковша.

– Э-эх! – крикает за спиной сторожуха, похожая на моченую наседку старушка лет семидесяти. – Из чистой криницы, только в жнива и берем.

Оглядываюсь, ласково киваю, а сам думаю: нечем похвастаться людям, так хоть водицей. Спускаюсь в большущий подвал. А может, это землянка, только глубокая и просторная. По сторонам лавки, в глубине столик, свет только из распахнутой двери. К камышовым стенам привалились девчонки, дремлют. Лена, грудастая, с толстой косой, та самая, которую я шутя приобнимал у решета, отодвигается, позволяет присесть в прохладе.

– Привет будущим учителям! – говорю полушепотом, чтобы не вспугнуть сон соседок, а сам заваливаюсь бочком так, чтобы вынужденно запустить руку Лене за спину и коснуться пуговиц на лифчике. – Устали? Нежитесь? – сладко прижимаю предплечье к груди девушки, хмелею.

– Ну, хватит, – добродушно шепчет Лена. Потом чуточку добавляет голоса: – Хватит со мной. Вон с Катей еще поигрываетесь...

Это «еще» ошарашивает меня. Да, в деревне я не то что в столице. И работа, и девушки мне по плечу, тут схожу за первого парня. И горько, что таких вот женихов, довольно средних, как я, маловато; через армию, через училища поразбежались, не хватает для взрослеющих женщин. Лена сочувствует подруге, рада поделиться, ведь и в их районном педагогическом училище парней раз-два и обчелся. Пересаживаюсь к мягкой коротышке Кате. Она с умыслом не отодвигается, вроде бы препятствуя, рассчитывает на мою дерзость и объятие. И сольется на минутку в возне с мужчиной, и не потеряет лицо. Я шутливо борюсь, а самому не сладко:

представляю недалекое будущее этих милых, чопорных девчонок.

Задрыпанная сельская школа, дороги из липкой грязи, толстокожие, ограниченные, из-под пьяного батька, ученики. Анекдот: «Иван, ты чего это вчера не был в школе?» – «Водил корову до бугая». – «А батько что, не мог?» – «Мог, да мамка говорит, что бугай лучше...»

Муж воняет навозом и мазутом, о базаре и о любви говорит одним и тем же матом. Если механизатор, то до пенсии не доживет. Лето в клубах пыли от лесополосы до лесополосы, зима на промозглом, подернутом инеем мехдворе с прожигаяще холодным металлом в руках. Зарботок – только на самогон и закуску. А она кое-как образованная, она понимает, что чище и трезвее ей не сыскать в колхозе. Улыбается его нелепицам, всякую его глупость переводит на шутку, если уж совсем невозможно уразуметь.

Я легонько беру кругленькие плечики Кати, сжимаю, тискаю ласково, как дитя. В землянке ее личика не разглядеть, а на солнышке не запомнилось, видимо, некрасивое. Глажу куценькую стрижку. Щупаю ушко. Она замирает, прислушивается, как котенок, вот-вот замурлычет.

– Как жаль, что я не из ваших краев, – говорю довольно искренно.

– А то что? – на вдохе шепчет Катя.

– Женился бы на тебе. Уговорил бы, упросил бы.

– А я и так пошла бы за вас.

– Ты солнышко, – произношу так, чтобы все слышали.

– И вы хороший...

Я тянусь к ее щеке, медлю, дышу, целую.

– Ой, не дурите! – сладко возражает малышка.

– Катя, может, это единственный раз. Чтобы навсегда запомнилось.

– Такое придумаете!

Добрые нравы и глаза подружек, проснувшихся от нашей возни, делают свое. Катя пересиливает себя, утрачивает трогательность и правду. Сильное влечение к парню уступает место еще более сильному и ложному страху: а что станут говорить в селе?!

– Хватит. Идите доиграйтесь с Леной.

Я делаю вид, что меня заждался руль «газона», выпрямляюсь:

– Ну, вы тут решайте, кому меня списать на вечер, а я попрыгал.

Я великолепен. Находятся слова, не изменяют задумке движения, знаю, все, что я ни сделаю, примется за образец, я ведь из города, да еще из загадочного театрального института! О, если бы Киев не обращал меня в хуторянина! Если бы Коля Вилава умел держаться там, как держится на бригадном стане! И от чего зависит наш внутренний настрой, наше право поступать так или иначе? Говорить то или это? Наверное, от окружения, от тех, кто нас воспринимает. Тут же задумываюсь над обратной стороной бытия. Если бы недоучки и хамы чувствовали себя хозяевами в Киеве, то город этот уже не был бы столицей. Был бы еще одной Емиловкой.

Сокращаю дорогу на элеватор. Утюжу жнивье, гоню грузовик так, словно это уплотняет время.

За полночь вкатываю в расшарпанный дворик без ворот, где горюют Катя и ее мама. Собаки нет, подалась кормиться на ток. Входная дверь даже не взята на защелку. Темь да тишь – ужина никто не предложит. Сквозь одно подслеповатое окошко падает почему-то два луча. Освещается печь в половину светелки. На ней кто-то посापывает, чудится, крадучие вздохи грудастой Кати. Падаю на лавку под окном, на двойное ватное одеяло. Собираюсь с духом. На печи, сквозь дрему, икают. Смешно, но это возбуждает. Отпрыжка повторяется, казалось бы, противно, должно стошнить, но – бес!

Лучи в окошке гаснут. Я сминаю просоленную сухим потом рубаху на пол, стягиваю, суча ногами тихо, кротко, джинсы. Встаю на припечек, ныряю на печь, словно в темный зев. Молча, чтобы не потревожить мгновенье, укладываюсь рядышком с горячим телом. Смахиваю тонкое покрывало. Локтем чувствую впадину в стенке: печное окошко или труба? Там полотенце или салфетка – плевать! Нащупываю большие, мягкие, разбросанные груди. Ничто не преграждает мне путь к ним. Наглею, ищу лицо, рот, сочно целую. Вдруг чувствую на плече у себя обжигающую руку. Страсть царит волшебная: упиваюсь. Рабочий день с гулом прямой передачи под нагрузкой, с колом в спине от напряжения – все уносится тартарары. Я не знаю устали. И раз и два...

Лишь измочалившись, обцелованный и бездыханный, я нащупываю в нише полотенце или салфетку – спасибо, милая, приготовила – и крепко протираю лицо, потом грудь и все тело.

– Спасибо, Катя, – едва шепчу.

И тут слышу сладостный гортанный говорок:

– Я не Катя. Я ее мама...

Утром никак не могу смыть жирную сажу с бровей, переносицы, да и с промежностей. Тряпка оказалась затычкой печной трубы. А пронирливый дядя Ладим поощрительно покачивает головой:

– Шо, казаковал на печи? Я тоже, на той неделе...

(«На мне природа отдыхала»)

12

После содержательной и успешной учебы и пяти лет, когда складывался творческий характер Малярова, вдруг на него нашло затмение. Промашка последовала за промашкой. И самое смешное, что тропинка в жизнь стелилась на удивление удачно.

Его зачислили на столичную телестудию ассистентом режиссера, встречали с улыбкой, как перспективного сценариста и обаятельного парня. Наиболее культурная редакция, художественная, переманила вдумчивого и открытого специалиста к себе и не перегружала работой: осваивайся, думай, пиши, ставь с опытными режиссерами – расти.

Начались беды с малого. Маляров заявил на летучке: нельзя подавать в эфир декорации и трижды отобранных людей. Это фальшь, и ее надолго не хватит. Дальше, если будут повторяться знаменитости в кадре, они приедятся, от них отвернутся. Да и никогда выдающиеся люди не были столь интересны, как заурядные, обычные, те, кого украинцы называют «пэрэсичнымы». И подавать их надо в обстановке, им свойственной, без грима и художественного оформления. Телевидение ведь – окно в жизнь. Почему избегаем такие впечатляющие программы, как литургии, крестные ходы, святые праздники? Этим живет в пять раз больше народа, чем без этого. Пройдут годы, мы все равно обратимся к церкви.

Такие мысли руководство студии где-то читало. У Дэвиса или Карасика, но чтобы реализовать их в нашей мертвой идеологической жизни – извините!

Поначалу Малярова называли наивным и улыбались, потом, когда он принес пьесу, с подачей истинного лица великого поэта, но и великого пьяницы и неврастеника Шевченко, к постановке вещь не рекомендовали. А тут он написал короткометражку о запорожских казаках, которые были всего лишь польскими пограничными стражами, да разбаловались, проворовались, и даже случайно возникший прообраз республики не слишком реабилитировал их. По сути знаменитые были о казаках, их характеры и подвиги – это уже порождение красивой фантазии Кулиша, Гоголя, Нечуя-Левицкого... Малярова приняли как образованного и способного человека, но опасного в обиходе обывателя. Уважали, но сторонились.

А тут разыгралась тяга к женщинам – двадцать пятый годочек ведь! Привел одну на квартиру, надо угощать, благодарить, а зарплата – едва на оплату жилья и питания. Приехала давняя подружка, ее нельзя поселить у себя на время – хозяйка бесится. Искать постоянную жену с квартирой – не в его правилах: мужчина обязан обеспечить семью всем и сам.

Тут пришли слухи из периферии: телестудии растут как грибы, нужны специалисты. Маляров взял за руку дружка и пошел к самому Председателю комитета по телевидению и радиовещанию.

– Жить негде, переведите нас...

Старик не дослушал и сказал вошедшему заместителю по хозяйству:

– Устройте людей!

Это мгновенье было одним их худших в жизни Малярова, впрямь тьма ударила в голову. Он не ухватился за мысль получить комнату на двоих с дружкой всего за шесть рублей в месяц, не нарисовал себе перспективу вольно приводить женщину, а потом, женившись, получить в столице квартиру. Он прервал Председателя:

– Да вы не поняли. Мы просимся в Днепропетровск.

Ах, так, нами пренебрегают! Что ж, езжайте в провинцию.

Второй удар. После удачной премьеры уже второй своей телепески Маляров повел в парк киномонтажницу, девочку на восемнадцатом году. В тихом хмелю уговорил лечь. Она честно шептала: «Я же тебя не люблю», но жар полыхал, и главное случилось. Потом выяснилось, что она сиротка, что теперь Анатолий «отвечает за тех, кого приручил». Привел ее в свою квартирку, то есть комнату на паркетке с кафелем и с высокими потолками, но по соседству с еще одной такой же – жильем дружка. Вскоре возник славный мальчишка.

Впрочем, у Малярова в бумагах я нашел отрывок, что-то вроде заготовки исповедальной повести. Оговариваюсь, написан кусок в третьем лице и с вымышленными именами. Не предназначен для печати.

...Зачали его не планоно. Скромная вечеринка в актовом зале телестудии, полуночные проводы пешком до вокзала. Он – ассистент режиссера, автор и редактор в совершенно новом учреждении под двухсотметровой башней, она – монтажница киноплёнки там же. У него – комната в квартире на двоих с коллегой, а у нее приемный отец и уж совсем чужая тетка в семье, после смерти родной. Ему пошел двадцать пятый год, ей – восемнадцатый. Пила она впервые, целовалась, наверное, тоже. Как оказались в парке, Бог ведает, почему девчонка пошла в чащобу за его крепкой и дрожащей рукой, тоже не скажешь.

Костя Белый целовал Асю стоя, потом заломил на руку, далее в сладком угаре незаметно уложил на траву. Она защищалась словами:

– Я же тебя не люблю!..

Но было отчаяние – то есть все мучившие ее по ночам страсти, к тому же ни малейшей возможности увлечь парнишку получше... платице единственное, хатка за Днепром и далее, за Синюхой, – чужая. Где-то там бывшая одноклассница, а ныне напарница в монтажной, Нина, на днях выходит замуж... а тут ничего не соображаешь от удушливых и уносящих душу поцелуев. Сдалась.

Этим бы все и кончилось. Но неделю спустя – уже смелое приглашение в комнату Константина на день рождения соседа и однокашника, потом парное уединение и снова – грех, вроде бы обжитый и только сладкий.

Белого пригласил профорг, старик сердобольный и весомый в коллективе.

– Ты вон какой рослый, гривастый и крепкий на ногах. За плечами столичный специальный факультет, в Днепропет-

ровске – работа в единственном на три миллиона людей учреждении, оклад – тысяча рублей, большая комната на паркете... – И после растянутой паузы, с астматическим вздохом сказал главное: – Ася же круглая сирота. Не поглумись над девочкой.

Парень прямо с кабинета доброго дядьки пошел в монтажную каморку:

– Солнышко, можешь остаться у меня насовсем.

– Потапыч, ты спятил!

А через две недели подружка Нина подошла прямо на репетиции:

– Константин, – этак по-взрослому спросила: – У тебя к Асе серьезные чувства?

– Даже очень, – весьма несерьезно парировал закрученный ассистент Белый.

А месяц спустя, при всего лишь пятом свидании, Ася всплакнула.

– Ты что? Надо было плакать в парке...

– У меня задержки. Что делать?

– Перебирайся ко мне.

– А отчим, а эта цыганка?

– Я официально.

Девушка повторила, едва ли для его ушей:

– Я же тебя не люблю. Я не хочу детей... рано, жизни не видела...

Он тоже не слишком любил Асю, не жаждал от нее ребенка. Нахватанный, словоохотливый и ценный специалист телевидения, каких с ростом башен для областных центров отлавливали неводом, он мог бы найти пару и почище.

Но Костя Белый был выскочкой из деревни, гол как сокол и одинок, что в Киеве, где пять лет учился и почти год работал, что в Днепропетровске, где котировался перспективным режиссером и сидел бы высоко, будь он при билете члена коммунистической партии. Пока что исполнял обязанно-

сти старшего редактора и режиссера художественной редакции, походя подбрасывал темы журналистам и постановочные идеи режиссерам всех пяти отделов, однако в получку – все те же девятьсот восемьдесят рубликов ассистента и неуверенные обещания дирекции о ближайшем росте...

Теперь он нежно сгреб волосы на Асином затылке и с высоты своей наивной мудрости говорил:

– Стерпимся – слюбимся.

Тринадцатого мая юная женщина куда-то унесла свой безмерный живот. Костя забежал к полудню, после репетиции, – дома ее нет. Стукнул в дверь соседа, однокашника и коллеги Бондаря, – тот хлебал чай и материл очередной сценарий; обменялись репликами:

– Не видел Асю?

– Профсоюз увез в родильное заведение.

– Что же мне не сказали?

– Схватки у нее короткие, слабые, а у тебя столичный да народный артист на репетиции.

– Куда же мне? – как всегда обратился к младшему на год, но практичному за двоих однокашнику.

– Выдавай передачу, завтра вместе навестим Асю в роддоме.

А ближе к полуночи, когда Константин сидел за пультом управления и вживую, – а тогда видеомagneтофонов еще в провинции не было, – выдавал концерт баритона Гамрикели, дежурная по программе Зина, та самая, что не против была пошутить, даже поцеловаться с Белым на иной вечеринке, незаметно подошла сзади, сняла трубку «тихой» связи и приложила к уху уже молодого отца. Так с чужих рук и услышал:

– Поздравляем! У вас родился сын, три килограмма пятьсот пятьдесят граммов, пятьдесят пять сантиметров ростик...

Кто-то похлопал Костю по темени, кто-то ухватил за свободную от микшера руку и просветил:

– Сынок вышел под знаком Тельца, трудяга будет и однолюб!

Естественно, в эфир пошла мелкая накладка, из уст Кости вырвалась пара матерных слов – первые звуки отца после рождения сына. Дежурная Зина с полным правом и публично пропечатала на его щеке слабый поцелуй:

– Теперь уж от семьи не отбить тебя! – и удалилась.

После передачи Белый выпил бы, но не было свободного рубля; погоготал бы со сверстниками малой стайей гусей, но постановочная группа устала и решила, что поздравления уже состоялись. В общем, молодой папа неприкаянно ходил между зданием студии и домом специалистов, что торчал тут же, во дворе, и на пятом этаже, одной комнатой, принадлежал ему. Почувствовал жгучее одиночество и мертвую зыбь в сердце. Хотелось всплакнуть от горя.

Такое с ним было однажды, почти шесть лет назад, когда он провалил курсовую работу. Пришел на квартиру, хозяев не было. Он не ел со вчерашнего дня, и теперь нечем заморить червячка. Тут вспомнил, что ему сегодня двадцать пять лет. Упал на диван ничком и для облегчения сердца сильно старался всплакнуть: никто ведь, ничто не напоминало ему о его именинах – а это уже Господь отступился.

В комитете регулярно комсомольские взносы сдирают, все однокашники, – а их, на специальном наборе, было шестеро, – свои праздники отмечают шумно. Они – киевляне, из семей с достатком, а он один – деревня, прорвавшаяся в избранную среду. Он один на курсе отличник, может, и по этой причине сторонятся его? А тут провалил работу, впервые, кое-кому повод для злорадства. Да, но это люди... А Бог за что отнял память, его двужильную память, предмет гордости всего факультета?

Молится Костя каждый вечер, тайно, искренне, Господа своего помнит постоянно, а он, вишь, сегодня от него отвернулся. Всплакнуть не удалось и в эту ночь. Тут держала дру-

гая сила – гонор. Беден, одинок, но никому он не позволит увидеть его уныния, зависти – да не будет на нем ни одного из смертных грехов! Не спал, смотрел в потолок, ныло под ложечкой, из-за побега Аси не нашел чем пообедать, поужинать. И хоть в ящике стола лежит четырнадцать рублей, но магазины уже закрыты. Утешился тем, что нынче экономит на еде, до получки ведь четыре дня, а завтра купит букет роженице – пятерка ли, десятка уйдет, он и этого не знает... Заснул.

Не полные сутки прожил сынок, еще не показался отцу, не получил имя, а уже сделал отца воршишкой, мелким, похожим на шакала. В своем крохотном кабинете, облепленном фотографиями человека с тысячью лиц, великого артиста и благодетеля, умеренного пьяницы Юрия Шумского в ролях, Белый разглядел Агафью Петровну, главного бухгалтера.

– По-прежнему не запираете свои апартаменты?

– Кроме задумок, у меня нечего уносить.

– Вы человек не отсюда, паркет могут содрать... Да ладно, подпишем гонорарные ведомости.

– Ах да, я запамятовал, что я еще и редактор.

В столбце исполнителей спектакля оказалась фамилия Любченко – дважды.

– Агафья Петровна, тут ошибка. И инициалы те же.

– Подписывайте, все верно.

Перо не опускалось на желтый лист.

Дама отошла к двери, прижала ее отвислым задом и зашептала:

– Коллектив приготовил вашему новорожденному приданое. Конверт: подгузники, пеленки-распашонки, все, даже колясочку и кухонную утварь для младенца. Кто же о вас, начинающих, позаботится? Мы знаем, что в вашей комнате, кроме дивана и портрета Чехова, хоть шаром покати...

Перо зависло, требовались веские основания, чтобы нарушить финансовую дисциплину. Рисовалась своя большая про-

дольная комната с балконом, паркет, высокие потолки и... голые стены, две простынки и байковое одеяло. Кухонька с одной эмалированной кастрюлей и крохотным чугуном, хотя стены обложены кафелем, а в углу – газовая печка. Не будь паркета, кафеля, газа, не так бы сильно ощущалась бедность.

С приходом в этот мир малыша нищета возрастет, тощим задом сядет на закорки. Ничего же для задуманного человечка не приготовлено. Три-четыре простынки из разрезанного Асей пододеяльника, сшитая ею же и набитая Бог знает чем подушечка...

Все гуще теснились мысли, возвращались к формуле, уже сто раз повторяемой: на кой хрен оставил Киев? Там приняли в лучшую студию, поставили его часовую пьеску, смотрели, как на порядочного. Так нет же, жилья ждать не хотел семь лет, как обещали, ринулся в провинцию, где давали сразу квартирку. Надули, вместо отдельной – комнату дали.

Все тот же гонор не позволял взорваться и вернуться в столицу. К тому же хорошо ложилась под него юная Ася, слова «не люблю» казались спичкой, поджигающей порох. Решил покувыркаться в провинции два-три года, накопить опыта и – на белом коне въехать в столицу.

Слабость приступом брала душу, поединок с редким искушением разом решить тяжкие заботы и свои, и сиротки Аси не выдерживали ни извечная боязнь Кости уронить лицо, ни гонор бедного и доселе порядочного парня.

Агафья Петровна знала нужные слова:

– Это согласовано. Всех молодых мам мы так одариваем.

– Кого всех? Не у меня ли первого роды в новом коллективе?..

– А у Плещенко? Вас опередили.

Широкая рука бабищи, в веснушках по тыльной стороне ладони, прижала перо Белого к ведомости. Он подписал.

Злодеяние странным образом придало Косте уверенности. Он прорвал некий меловый круг, извечное табу, вышел

ко всем людям, про которых этот наблюдательный и начитанный парень хорошенько знал, что, при удаче, те не церемонятся и никто не живет с одной зарплатой.

Зашел к косоглазому и уравновешенному директору, типичному среднестатистическому с фамилией на «ой»: Земляной, Гаевой, Вестовой. Этот – Горяной.

– Михаил Тимофеевич, не пора ли пересмотреть мою должность, главное же – оплату за труды? Как-никак, прибавление семейства.

– Поздравляю.

Начальник даже вышел из-за стола, пожал руку. И молчит.

– Я все сказал. – Это Белый.

– К ставке прибавить не могу, перевести на оклад старшего редактора – тоже. Не я установил, что на должности нужен коммунист. Поступишь в партию, тогда... А пока пиши сценарии, как другие.

Константина несло по ветру:

– Я умею писать или хорошо, или совсем не умею. Халтура ваших присяжных редакторов – мне не дается.

– Ну, уж ты святой! – побледнел директор Горяной.

– Разумеется, не ваши писаки – с борю по сосенке.

Тут Михаил Тимофеевич хоть и через силу, однако весьма дружески улыбнулся и уже тем напугал визитера. И сказал совсем убийственно:

– Подарок ко дню рождения сына получил? То-то...

Речь у Белого отняло. Только одобрительная мысль жила в подкорках: умеет руководить этот косоый партиец – одной фразой сшиб спесь с посетителя. И выкатанным в пыли песиком, последним в своре при сучке с течкой, даже прихрамывая, Костя вышел вон.

Малыш девять дней лежал с мамой в роддоме: желтуха прикинулась, обычная беда в наших заведениях. Все, что мог для семьи сделать молодой отец, это носил Асе смешные

книги: «Швейка», «Двенадцать стульев», шутки Чехова. Потом супруга вспоминала: никогда так не смеялась, в голос, соседки по палате вызывали врача – не чокнулась ли роженица?! Белый понимал, что книжки хороши, но главное здесь – Асино давнее и стойкое нежелание рожать перекувырнулось через голову и превратилось в счастье материнства. И сам потеплел.

Привезли крошку домой, нарекли Женей, уложили поперек дивана под портретом того же Чехова, обменялись мыслями:

– Антона Павловича придется выкинуть. – Это Ася.

– Приветик? – Это Костя.

– Клопы в нем гнездятся, кинутся на свежее тельце.

– Мать-перемать! Так они же и в диване.

– Диван искупаем в керосине.

– Тогда и всю комнату надо в керосин.

– Надо.

– А этого жильца куда?

– Старухе соседке на два-три дня, вместе со мной.

– Тю, я думал, ко мне вернулась жена.

– Так все равно же нельзя пару месяцев...

Три дня спали вне дома, балкон и дверь были распахнуты – проветривалась комната и мебель; портрет обожаемого классика сожгли во дворе ночью, чтобы, не приведи Бог, коллеги не подумали, что заноза Белый свихнулся и уничтожает свои святыни. Или, мягче, половину своего имущества приносит в жертву из благодарности за наследника.

Два месяца клопы не кусали. Потом пришли из соседских пределов. Но беда не ходит в одиночку: в тот же день, когда Женя впервые вскричал от укуса, лежа голеньким поперек дивана... в телестудию пришла финансовая ревизия. А еще неделю спустя косою Горяной вызвал Белого к себе в кабинет. Там сидела Агафья Петровна с вытянутым лицом и конопатыми ручищами на коленях. Потупилась и сокрушенно покачала головой, как бы предупреждая: «Вот, нашли».

Горяной показал акт ревизии.

– Ты, Костя, конечно, комсомолец. Больше вины тут со стороны главы бухгалтерии. Агафья Петровна от нас уходит. Тебе выговор в приказе... А ты еще метил в старшие редакторы... Прочти, распишись. – Заурядным жестом Горяной протягивает жесткий лист бумаги. – От сегодня ты всего лишь ассистент.

Идти некуда, но и оставаться нельзя: посрамлен без милосердия, никогда и вовек ему не продвинуться по службе.

– Я хочу предупредить вас, Михаил Тимофеевич... – Константин надолго задумался: не отнимут ли комнату? Положение усложнится: ни работы, ни жилья... и жена, сама почти ребенок, с крошкой на руках. – Я подаю заявление об уходе. Как там по закону? Две недели отработываю – и свободен.

– Ты хорошенько подумай. Найди место, потом уж...

– До свидания!

За порогом Белый решает позвонить в Центральную телестудию.

– Але! Это художественная редакция? Ты, Митя?

И в двух словах о желании вернуться.

– А ты трудовую книжку забрал?

– Понятно, забрал, тут зачислен.

– И выписал паспорт из Киева?

Теперь уж совсем понятно. Придется ждать, когда меня позовут. И безразличный смешок, как бы ничего не случилось.

Куда податься? Получку всю Костя принес домой, выпил по случаю за чужой счет, расхрабрился, лихо смонтировал программу. На летучке Горяной подчеркнуто хвалил его, в кабинете он же спросил:

– Ты не передумал уходить?

– Меня не устраивает мое нравственное положение.

– Мало ли кто из нас попадался! Я, прежде чем возглавить телевидение, был директором строящегося телецентра. Знаешь, дважды случались недочеты, два выговора, а вот выдвинули. Если человек тянет дело...

– Я не член партии.

Два замечания. До появления этого молодого специалиста в Николаеве в Малярове уже укоренились два неизбежных комплекса. Первый: чувство лишнего. Ему казалось, что в мире все устоялось, одни врут и воруют, другие не умеют это делать и грустно ненавидят счастливицков. А он болтается между ними и мешает своими взглядами, застарелыми, почерпнутыми из дедушкиного Писания.

Второй комплекс: чувство вселенской вины, даже перед дурачками и злодеями. Это засело в его недремлющую душу с того дня, как мужику указали в приказе: ты проворовался. И претили эти пороки главному в маэстро: желанию познать жизнь и людей, а для этого влезать в самые неблагоприятные обстоятельства, сближаться с мерзкими лицами, какими он считал всех партийных чиновников, их пассий, все учреждения от властей и все моральные, даже семейные, устои своего времени.

Для постижения жизни и отображения ее в прозе и драме, для «вхождения в люди» Малярову нужны были какие-никакие тылы: жилье, смиренная жена, нормальная зарплата и творческая репутация. В Днепропетровске Маляров свое жилище сдал студии, жену с крошкой отправил «на сухую корку и крынку молока» в деревню, сам же получил, вместо обещанных благ, такое!

...Здесь тупик. Отсюда поезда только возвращаются. Для меня – образ. Я в тупике, но возвращаться мне некуда. Прохожу маленький зал ожидания. Воздух тяжелый, у ресторанной двери мешочник тузит прилично одетого карманника. Очередь отвернулась от кассы, зевает.

Площадь пуста, две чистые лужи, опрокинутый мусорный ящик, апатичный пес. У бордюра приткнут потрепан-

ный «бобик». Из приотворенной дверцы спускаются две точеные ножки в ортопедических туфельках. Смазливая мордашка улыбается, головка покачивает «конским хвостом» соломенного отлива.

– Я секретарь директора студии. Лиля. А вы очередной претендент?

Голосок серебряной пробы, в сером взгляде ожидание. Накопившаяся за ночь в плацкартном вагоне усталость принуждает меня молча развернуть телеграмму: «Приглашается должность старшего...»

– Спрячьте. Я отправляла эту цидулу. Усаживайтесь, пока водитель пивком балуется.

– Зануда! – смиренно возражает подоспевший мужичок в захватанной кепке и пиджаке, из которого вырос. Берется за руль. – Я – Полулях.

– Наш возница – благородных кровей, – комментирует Лиля. – Он лях, но не полный.

Переулок-подъем заасфальтирован городскими властями, двор радиотелецентра – госстроем, а вот полутораметровая прореха в воротах – никем, дымится волглым после вчерашнего дождика песком. «Бобик» без разгона не берет препятствие, рычит, зарывается, дымит. Сводит руки на груди вахтер, останавливается прохожий, из-под земли возникают два журналиста и молодичка с метлой – интесресуются. Даже пожилой бухгалтер в налокотниках наполовину высунулся из окна радиодома, похожего на двухэтажный туалет.

Из-за угла здания под телебашней выходит гражданин в однотонном костюме. Лицо опечаленное, как бы припорошенное белым, – знакомое; он вздыхает. Мотор глохнет, лица поворачиваются к руководителю, ждут указаний.

– Тц-цы, выньте машину, поставьте в сторонке, посмотрим, что оно получается. – И смотрит на меня с видом: а к чему бы этот?

Топчется на месте, еще натужно вздыхает:

– Значит, приехали? К нам, что ли? Ты-цы, тоже неплохо.

– Почему-то слегка грозит пальцем Лиле: – Покормить и –
наверх. Я к одиннадцати там.

И гражданин неуверенно бредет за угол телецентра.

– Спокойно, – едва не прыскает в ответ на мое остоле-
нение Лилия. – Директор признает вас сразу же после утвер-
ждения в обкоме партии. До того вы чужак. А пока – на зав-
трак, в «Сад радостей земных»!

Долго идем вдоль одноэтажек, тротуар покрыт песчано-
грунтовой жижей. На перекрестке женская команда разби-
вает цветник. Секретарша ведет экскурсию:

– Тут стоял высоченный храм. К вашему приезду его, с
Божьей помощью, снесли. Красив был, но по просьбе трудя-
щихся...

Ни павильона с пирожками, ни забегаловки с похлебкой.
Наконец, угол Херсонской и Советской – «Вареничная». Минуя
спрессованную толпу за турникетом, девушка по-хозяйски
ведет меня внутрь чумазого зала, останавливает судомой-
ку или уборщицу, мужеподобную девку в переднике с отпе-
чатками пятерни и с бланшем под глазом:

– Привет, Лютик! Трудно совмещать обязанности выши-
балы?

– Будь спок, – гнусавит «Лютик». – Клиента увезли в
«скорой».

Лилия светски делает ручкой:

– Нам отдельный кабинет. Устрицы по-френбургски, два
раза. Суп «Прентеньер», тюрбо, да соус погуще. Шампанское
с белой печатью.

Я украдкой касаюсь локтя спутницы:

– Не по средствам...

– Знаю, – только для двоих произносит Лилия. – Но Лютик
же сказала: будь спок. И будем спок.

Нас усаживают на бойком месте, по нас ходят. «Лютик» приносит две порции елких, вывалянных в престарелом масле вареников, один Бог знает с чем, и два граненых стакана с волокнистым пойлом.

– О-о, конфитюр аля бурдэ! – не понимаетя секретарша.

Официантка-вышибала поясняет мне:

– Не обращайтесь внимания, она в Николаеве на излечении.

К одиннадцати все та же Лиля везет меня в обком. Инструктирует:

– Вы мне симпатичны. Молоды, неприсмотрены. Мы вас оставим себе. Хотите иметь малый карт-блани, сделайте так. Когда главный идеолог поинтересуется, знает ли вас Александр Иванович, вы без тени колебаний кивните: о, да!

– А кто это – Александр Иванович?

– Вам знать не обязательно. Ну, генерал, ну, недавно мы с ним... служили.

В огромном кабинете правит средней упитанности человек лет сорока. Также припорошен мукой или пудрой, тоже апокалиптически вздыхает и поцыкивает зубом.

В уголок забился директор студии.

– Значит, приехали? К нам, что ли? – сипит секретарь обкома.

Помню, что Бог создал человека по своему образу и подобию, догадываюсь, что идеолог подбирает кадры в том же духе. Не вздохнуть ли мне и не цыкнуть ли зубом?

– А вы того?.. – спрашивает вождь.

– Пока нет. Но мне только двадцать шесть лет. Успею.

Это мы выяснили мою партийную принадлежность.

И тут решающий звонок по телефону. Хозяин кабинета любезно гудит в трубку, посмеивается, как цыкает зубом, а про вздохи забывает. Кончает телефонный, продолжает кабинетный разговор:

– Вас знает Александр Иванович?

– О, да!

Директора оставляют, а мне велят совершить экскурсию по студии.

В отсутствие пастыря весь приход сгрудился в кинопросмотровом зале, кайфует. Ба, не все. На втором этаже два отставника в политрукских кительках режут в шахматы. Соседняя дверь приоткрыта. Виден у телефона молодой старичок с пером в руке. Он мыслит и напевает:

*Только на Ингуле
Нас не обманули.
Лишь на этой мели
Нас не поимели.*

«Благословенный край, если так», – думаю я и прогоняю побуждение – бежать куда глаза глядят и где меня не ждут. Нужно окапываться и строить карьеру тут.

Лиля дает мне адрес старика-добряка на Первой Поперечной для временной ночевки.

Перепрыгнув разрытый переулок, считаю дощатые калитки в плетнях из хмеля, дерезы и вишняка. На одной пригвозден почтовый ящик, похожий на улей, на другой странная афиша: «Желающие на телевизор смотреть кино с восьми вечера. Взрослым – двадцать копеек, детям – десять. А если кино детям до шестнадцати не дозволяется, то и детям по двадцать». Бизнес!

Еще раз сигаю через ров, вхожу в темную калитку. Никого. Дверь в припорошенную веранду низкая, приотворенная. Стучусь. Молчание. Вхожу – тут же меня за мошонку хватает узловатая ладонь и пропитый тенорок спрашивает:

– Сколько у тебя санти?

– У вас в городе что, существует ценз оседлости? – нахожусь сгоряча.

– А шо, нельзя поинтересоваться?

Щербатая физиономия улыбается во все морщины:

– Проходи, звонили... Собаки нема, одолжил свату на Лянина, там крадут больше.

Выставляя мутную поллитровку, хозяин завидует мне, что я не знаю его ведьмы. После второй рюмки торопит, пока она не явилась с дежурства. После третьей сокрушается, что я такое же дерьмо, как она: не хочу больше пить. А после четвертой замахивается на меня гранчатым стаканом. Ухожу едва ли не в окно. Блуждаю по прибитой пыли, потом по жиже на асфальте, вокруг жидкое, дальше яркое освещение, одноэтажки, потом хрущевки, казенные строения – и везде собаки.

Ночую, как и подобает главному специалисту, в гостинице, на все оставшиеся деньги. Задумываюсь о завтрашнем дне; концы обрублены, мосты сожжены... И вдруг сосед по номеру облегченно вздыхает:

– О жизни можно говорить только шутя. По большому счету, о ней никто ничего не знает. А городу этому не грозят ни потрясения, ни землетрясения...

Смеюсь про себя, думаю: а вдруг, катясь все дальше в провинцию, я не опускаюсь, а поднимаюсь? Авось здесь найду по Сеньке шапку?!

К удачам относится получение подъемных денег на всю семью, даже дорогу оплатили троим взрослым. Простота и нетвердое знание уложений иногда выгодны нам, простакам. Таких купюр я никогда в руках не держал. Чтобы не украла сограждане, тут же захожу в универмаг, покупаю ну просто на меня шитый костюм, любимого серого цвета, в крупную вязку, с едва заметной зеленой искоркой. Продавец поясняет:

– Залезался, потому что землякам не по карману.

Тут же отправляю почти всю оставшуюся сумму Лиде в Киев. Звоню ее подруге с почтового отделения, чтобы сразу не пошли слухи, что занимаю служебный телефон и вгоняю в расходы телестудию.

Занимаю большой кабинет, на дверях написано: режиссерская. Здесь Т-образный стол, телефон, театральное зер-

кало, два больших шкафа: один для костюмов, другой, открытый, – для заставок, фотоиллюстраций, в общем, для текущего видеоряда. Плохо, что на первом этаже, рядом с бойким местом, павильоном студии. По делу заходят стучась, а без дела... Вот влетел спиной и вытянулся на полу приземистый толстячок, рыкнул в незахлопнувшуюся дверь: «Засранец!» – вскочил и выбежал. Видимо, человека поддели, не рассчитав направление падения.

А вот заходит белесый красавец, едва за сорок, вежливо здоровается и сразу принимается щупать мой новый костюм, забытый на тремпельке при входе.

– Выдали по талону? Или благоприобретен? – спрашивает по-домашнему и, не дожидаясь ответа, загорается всей физиономией: – Продайте по доступной!

Изучаю планы, программы, смотрю на тускленький черно-белый экран в углу.

Одна собственная программа. Даже из соседней Одессы не идет трансляция – дорого. Релейной линии нет, а самолет, который по вечерам кружил с антенной на борту на полпути между полисами, разорил горсовет. Видеокамеры печатают, потому что допотопные; операторы все время утюжат картину, чтобы не появлялось два и три изображения. Тексты сценария почти все переписаны из газет: длинные, неразговорные фразы, в начале предложения понятно, что и как скажется в конце.

Начальства не видно. Директор с утра заходит в свой кабинет, повздыхает, растерянно поцыкает зубом и вызывает Полуляха:

– Че я буду сидеть и терять квалификацию как журналист!

Удаляется на полдня. Потом обедает, потом, если не вызывают в обком, сидит и переписывает из утренней газеты информашки, так как самостоятельных наблюдений и выводов из поездок на предприятия делать не смеет.

Оказывается, есть над нами еще старший начальник: Председатель областного телерадиокомитета. Тот сидит на Адмиральской улице, тщательно смотрит наши программы, чтобы хоть по касательной уловить, что оно такое – телевидение. Мудрый крестьянин с едва довершенным заочным педагогическим образованием сам шутит: заочно выучиться – все равно что заочно пообедать, – и не показывается у нас.

Светлое пятнышко, пожалуй, во всем городе – секретарь Лиля – заходит, садится к дальней стенке, просвещает новичка:

– Начальство избегает студии потому, что не знает, что и кому говорить. По невежеству града и мира вам дается карт-бланш. Держите хвост пистолетом!

Она же намекнула, что год назад «разик сотрудничала» с Первым заместителем Председателя горсовета, и повезла меня к нему на прием.

Длинный, басистый и толковый мужик пояснил мне доверительно:

– Хату вы получите. Но «Белый дом» ожегся на вашем предшественнике и теперь боится «варягов». Присматривается к вам: что вы умеете в деле и чего вы не умеете в шулерстве. А я присматриваю вам высвобождающийся фонд поближе к телебашне.

И вдруг проявил необъяснимую симпатию, видимо, благодаря похожести нашего роста, манер, может, из-за присутствия очаровательной Лили:

– Тем более, что вас ждет трехмесячная командировка в Киев. В нашей буче, серой и дремучей, есть пара трезвых умов. Вот они всмотрелись в вас и решили вырастить «ведьму в собственном коллективе». То есть, веря в ваши возможности, подучить вас в столице именно профессии руководителя режиссерско-постановочной группы телевидения. Так что вернетесь львом, а тут подоспеет квартира. – И взгляд на девушку: как я выдал?

Пока что меня поселяют в общесемейку на Террасной, в трухлявые стены, возведенные еще пленными немцами из подручной глины, дранок, отходов трофейного производства. Двухэтажка, общий полутемный коридор, в обе стороны барачные комнаты, в каждой от двух до четырех обитателей. В конце – кухня с баллонными газовыми печками и примусами. Штатная принадлежность – коты, которые при зазевавшихся кухарках прыгают к раскаленной сковороде и когтями сметают недожаренную котлету. И куда ни повернешь – рецидивист Валек на подплати.

Туалет с тыльной стороны под окнами. Пять низко отгороженных дырок, перед ними черствое дерьмо с мякиной, в нем круглые гнезда с початыми бутылками. По утрам пролетарии, справляя большую нужду, опохмеляются вдали от глаз своих благоверных.

Мне достается одна из двух коек в тупике, в изоляторе, окошко печное. Стены голые, но на одной – большой, писанный маслом, портрет Ленина. Падаю на продавленный матрац, утопаю в панцирной сетке, поэтично закладываю руки за голову и углубляюсь в планы оплодотворения печального казенного заведения без специалистов и с допотопной техникой. Мечтаю обратить его в цивилизованное творческое создание со столичными замашками, современной культурой. Говорят же философы: чтобы разбудить целое общество, достаточно одного настырного звонаря! Так... убрать эту дурацкую манеру начинать единственную программу с гимна страны, прокручивать каждый вечер в девятнадцать ноль-ноль кинокадры с караваном чистеньких комбайнов в высокой пшенице, спуск океанского судна со стапеля, морду ныне здравствующего секретаря ЦэКа компартии, ликующие толпы народа на демонстрациях. Так... нельзя же ежедневно подавать духовную пищу в таком меню: радостные вести с заводов, полей и ферм; героическое кинотворение о партии в войну и послевоенные годы восстановления; сое-

ты какого-нибудь ветеринара об оплодотворении свиноматок с кинокадрами случки; лекцию о пребывании Ленина в Цюрихе. А в заключение, словно в насмешку, очаровательные кадры ночи над лиманом и музыка Шуберта – «Серенада». Думаю...

Вдруг дверь вышибается ногой. Четверка шумных работяг втаскивает пятого, плотного коротышку, в пиджаке на одной руке и без обуви. Он требует:

– Сначала верни шкалец!.. И подними Дему!..

С размаху пришельцы водружают бухарика на свободную койку, прямо на ржавую сетку, и поясняют мне как старому знакомому:

– Комендантши муженек. – Отдуваются, кряхтят, привязывают страдальца к спинкам кровати. – Бьет нашу кормилицу-поилицу... мы его и того...

«Да что это – всем комендантшам общежитий мужей тачают на одной колодке?», – думаю и вписываю в кондуит типичное наблюдение.

Супруг начальницы сучит ногами, прогибается, орет:

– Вы фашисты! Люди, спасите! Люди, вы видите, что они делают с рабочим классом! – Мутные глаза останавливаются на портрете вождя. – Ленин! Спаси ты меня, как спас в семнадцатом!! Что же ты молчишь? – И с большей обидой: – Ленин! Ленин, е... твою мать! Спаси своего кореша!!..

Носильщики уходят. Пьяница дергается рядом, выпускает ветры.

Меня подмывает оставить свои грандиозные надежды на карьеру и квартиру и бежать. Останавливает следующая мысль: меня никто нигде не ждет. Я случайно попал на перспективную должность, по невежеству руководства да поспешности возведения телебашен. А где-то Лида в ожидании крошки... а тут присматриваются ко мне, чтобы одарить. А вскоре – трехмесячная жизнь в обожаемом Киеве, как в студенческие годы...

Засыпаю одновременно с соседом по несчастью, к которому так и не пришел на помощь его вождь.

(«Карьера»)

14

*П*ериферия выставила все свои тернии и рытвины. В новое дело собраны случайные люди, главное достоинство которых – членство в коммунистической партии. Маляров же поклонялся Богу и памяти покойного чеха-дворянина. И тут пошло раздвоение личности. Внешне приходилось играть заурядного совка с некоторым преимуществом образования и таланта, а в душе отмаливать у Всевышнего прощение за то, что не умеет прокормить семью иным образом, кроме показа в эфире косноязычных пропагандистов и ложных успехов в промышленности и хозяйстве края. И еще: при занятости с рассвета до полуночи находить минуты для творческих фантазий и беглой записи наблюдений. Все это для будущей «Книги жизни».

Забегая наперед, скажу: цельной книги о жизни малого художника телевидения, театра и словесности у него не получилось, однако все его повести, рассказы и пьесы – об одном. «Из себя», как говорил Лев Толстой.

Отрадой стал телевизионный театр, как-то случайно придуманный Маляровым. Штатные редакторы юридически не могли растаскать весь гонорар студии. Под конец квартала оставалось полторы-две тысячи рублей. На эти деньги наш хитрец собирал полдюжины актеров из двух театров города, а желанная к постановке пьеса у него всегда грелась за пазухой, вот и ставил по ночам да в обеденный перерыв часовые и двухчасовые премьеры. В эфире их заметил Киев, потом Москва, и предложили обе столицы

показывать вещи на всю страну. А какие имена игрались: М. Коцюбинский, Д. Б. Пристли, Эдуардо де Филиппо, М. Себастьян, Морис Уэсти и не хуже иные. Тонкие диалоги сугубо для интимного просмотра, разумные мысли, честные лица в кадре. Не играли, а думали исполнители вместе со зрителями. Слава к Малярову пришла, а денег не прибавилось. Руководство считало телепостановки игрой и блажью режиссера, о количестве времени и труда, на них потраченного, власти не имели представления. «Что взяли пьеску, разучили – и ладно». Семь лет надрывался Маляров, и лишь случайно ему прибавили тридцать рублей к зарплате. Семья бедовала, советовала главе бросить чертово искусство, ездить по селам, снимать передовых председателей и брать торбами, арбузами, бутылками... Не давалось ему это.

Он выискивал не рекомендованные пьесы, благо местное начальство плохо отличало Лобановского от Любачевского, а всех троих писателей Толстых мнило на одно лицо. Ставил с упоением и до истощения сил. Поначалу своеволие его сходило с рук. Но вдруг цензура добралась и до изданных прежде вещей. Боссы требовали сдачи спектаклей перед выходом в эфир. Первый, второй раз это не разрушало художественную ткань вещей. Но однажды Маляров поставил «Ночной дилижанс» по Паустовскому так, что партнеры репетировали каждый отдельно и впервые встретились в кадре уже в эфире.

Артисты были не знакомы, потому эффект изучения друг друга, и персонажей и исполнителей, был коронкой спектакля. И тут Председатель комитета потребовал предварительного просмотра... В начале шестидесятых видеоманитофонов в провинции не было, не запишешь при сдаче вещи, и весь замысел летел в тартарары. Сколько напрасных унижений пришлось пережить молодому режиссеру!

Впрочем, перипетии с «Дилижансом» составили первую повесть Малярова о телевидении. Она издавалась тридца-

тысячным тиражом в Киеве и, повторно, в Николаеве. Вместо себя он вывел одинокую женщину, молодую, брошенную, упорную в искусстве, как и он. Вот эпизод с Председателем комитета, чинушей и ловеласом, застигнутым на пути от любовницы.

...Кожин озадаченно остановился. Ему нужно алиби. Был на стадионе, счет три : один. В чью пользу? Кто забивал? С кем ты сидел рядом?

Прокруст достал из кармана билет на матч, измял его и аккуратно кинул в урну. Мог бы перед матчем отдать кому-нибудь студенту.

Идет еще одна стайка болельщиков. Кожин приблизился к ней:

- Ребята, кто забивал голы?*
- Кайлов два и Симонов!*
- Значит, наши забили три? А у них кто?*
- Какой-то Дмуховский, десятка.*

Ребята удалились. Он стоял, систематизируя данные.

Надо же претерпеть столько унижений ради нескольких часов в обществе подержанной шлюхи! А, черт с ним! Когда Кожин направился по ступенькам к бульвару, я догнала его.

– Добрый вечер.

Он остановился, не торопясь поднял голову:

- Добрый вечер... Вы со стадиона?*
- Я?.. Ах, да.*

– А что так поздно? Уже все разошлись.

– Да я вот здесь задержалась.

Выпала и осеклась. Почему «здесь»? Могла бы сказать: «там» – и у него не возникли бы сомнения. Но это слово, а пуще того – моя заминка насторожили его.

– Встретили знакомых?

– Да.

– Кого же, если не секрет?

– Секрет.

О, тут я совсем становлюсь хозяйкой положения.

– Ну что же... А вот я, – промямлил он, однако собираясь с духом и пытаюсь выровнять положение. – Я поболел немного. Наши здорово играют, надо бы последний матч транслировать по всей области! Как вы считаете?

– Разумеется, надо.

И говорили мы совсем не про то, оба понимали это. Он должен был прямо поставить вопрос: «Ты все видела?», а я хотела бы сказать: «Отмени завтрашнюю сдачу спектакля, и я забуду, что видела тебя здесь. Ты же трус и больше всего боишься неприятностей...» Но не всегда можно сказать то, что хочешь, и то, что крайне нужно.

Кожин небрежно улыбнулся и спросил:

– Так здесь живут ваши знакомые?

И я отступила:

– Нет, не здесь. Далеко, вон за теми домами. Я шла по улице и, увидев вас, побежала сюда.

Это уже другое дело. Степан Гаврилович стал сразу Степаном Гавриловичем, приосанился, перешел на нижний регистр.

– Уместно ли сейчас говорить о деле?

– У меня не было другого времени. И потом, обстоятельства не терпят.

Он стал еще тверже.

– Давайте приходите ко мне завтра.

Я чувствую, как ситуация уходит из-под моего контроля.

– Степан Гаврилович, вы же знаете, что у меня только одна возможность поговорить с вами. Сейчас. Завтра будет поздно. И вы знаете, о чем я буду вас просить.

– Догадываюсь.

– Завтра приезжает Барилко.

– Борис Борисович, – поправил он, как уже делал это однажды.

– Да, Борис Борисович, и я хочу упростить вас отсоветовать ему смотреть спектакль.

– И снова: сказка хороша, начинай сначала.

– Ситуация-то исключительная.

Мы вошли в полосу света. Я увидела, что взгляд Кожина стал отчужденным. Я добавила:

– Раньше ведь вы не всегда принимали спектакли. Неужели эта неприятная процедура обязательна? Будем откровенны.

Он остановился, и я на минутку запнулась. Кожин достал сигарету и, не спросив позволения, как делал обычно, чиркнул спичкой. Курил он глубокомысленно. Сейчас докурит, раздавит сигарету о парапет... На башне, украшающей фасад гостиницы «Динамо», ударили часы. Удары звучали долго, с достоинством, так же, как курил Степан Гаврилович.

– Откровенность за откровенность, – сказал он.

И снова пауза. Часы кончили бить.

– Вам, Людмила Григорьевна, сейчас не о спектакле печется надо.

– А о чем же? – вырвалось у меня.

– О вашем положении на студии.

– Вы имеете в виду те пасквильные письма, что группа Чалого разослала по всем инстанциям?

– Называйте письма как хотите, но это документы. За ними стоят люди. Не считаться с ними мы не можем.

– С меня уже достаточно, что я побывала у Бондаренко.

– Ах, вот как!

– Да и то, что я пережила там, многое искупает.

– Вы думаете? – Он снова пошел по аллее.

Теперь я вынуждена была догонять его. И как проситель заглядывать ему в лицо то слева, то справа.

– Степан Гаврилович, вы же знаете, что в разбазаривании денег на несостоявшиеся репетиции я не виновата, что пленку одолжила ходокам из района с ведома директора. Вы

же знаете, что моя резкость по отношению к диктору имеет не административные основания. Как же вы можете?..

– Людмила Григорьевна, вы дискредитировали себя и как руководитель творческой группы, и как женщина.

Он поставил огромную жирную точку после слова «женщина». Ему нельзя было отказать в умении пользоваться силовыми приемами. Намерком, одним словом он напомнил мне всю историю с Тарасом, ставшую с недавних пор всеобщим достоянием. О, информация двадцатого века!

– В чем же это я дискредитировала себя как женщина? – вырвалось у меня снова.

– Давайте все-таки поговорим в другой раз, – настойчиво сказал Кожин. – Я не хотел перед завтрашней сдачей спектакля расстраивать вас, но раз вы сами запросились, скажу: послезавтра состоится заседание областного комитета по телевидению и радиовещанию, на котором будет слушаться ваш вопрос. Подготовьтесь, если хотите защититься. Члены комитета не могут обойти молчанием того, что происходит, скажем, в вашей семье и в ваших отношениях с другими...

Прав студийный балагур Писаревич, однажды сказавший: «Кожин никогда не углубляет моральные проблемы настолько, чтобы их нельзя было решить одним окриком».

– Вы хотите поговорить о моей нравственности? – уточнила я.

– Называйте как знаете...

– Вам ли говорить о морали, Степан Гаврилович!

Вот тут он понял все. Резко повернулся ко мне:

– Шпионим?!

– Не в том дело...

– Поздравляю!

– Да Бог с вами, если не можете по-другому! Но уж хоть держитесь с достоинством. А вы, как побитый щенок, заливаете раны, да еще потом делаете вид, что ничего не случилось.

– Это не ваше дело.

– А ваше ли дело лезть в чужую жизнь, в которой вы с простотой и завидной примитивностью ваших суждений и понять-то ничего не можете? Да я все эти годы, что мы с вами знакомы, святее папы Римского. Я истязала себя не днями и не месяцами – годами за тот грех, что я совершила. И не вам говорить со мной на эту тему. Можете ставить вопросы, можете осуждать и обсуждать. Но я прошу вас о другом. Пусть я преступница, пусть на мне клеймо! Не путайте же, ради всего доброго, меня как человека с тем делом, которое делает целый коллектив людей. От которого в какой-то мере зависит доброе имя нашего города. Во всяком случае, во мнении миллионов телезрителей по всей Украине! Я забуду ваши оскорбления и не посмею даже себе напомнить сегодняшний вечер и все, чему я стала невольным свидетелем, только умоляю вас, отмените своей властью завтрашнюю сдачу «Дилижанса».

– Шантаж!

– Клянусь вам, нет!

Он обнаглел сверх всякой меры.

– Я не чувствую за собой ничего такого, в чем бы мог себя упрекнуть. Все ваши слова – грязная инсинуация.

Я кинулась в крайность, горячо дыша, я прошептала...

– Да, это бред. Я все тут придумала...

– Я могу привлечь вас за клевету.

– Я клеветала на вас. Простите.

– То-то же.

– Я клеветала, я недостойно вела себя, только отмените, пожалуйста, завтрашнюю сдачу! Пожалуйста!

– Не могу!

– Пожалуйста!

– В этом нет необходимости.

Он пошел быстро и уверенно. Я бежала за ним, как собачонка, и лепетала чужими губами, чужим голосом:

– Пожалуйста, пожалуйста... Пожалуйста!

– Отстаньте от меня!

И я отстала.

(«Этот неудавшийся сентябрь»)

15

Молох коммунизма многих ввергал в пьянку, многих превращал в инакомыслящих с шишом в кармане. Страх стрелял и по совершенно безвредным для власть предержащих. У Малярова есть трогательный рассказ о милом и бесхребетном главном инженере, а потом начальнике телецентра и к концу карьеры вообще высокооплачиваемом приятеле, который прожил за восемьдесят, благами пользовался, а шестеркой так и остался. После публикации его в журнале – были жалобы, даже скандалы, пришлось изменить фамилию: Шерстюк на Волох.

...Вадим Амосович Волох ходит с втянутой в плечи головой и настороженным взглядом с тех пор, как женился на еврейке и мигрировал в город.

Люди про него знали: дельный инженер и в политику не вмешивается. Он про себя знал: водонос и коневод, взрывающийся в электро- и электронную технику, чтобы в этой социальной и политической бодяге прокормить двух очаровательных огольцов и помочь вечно недомогающей Розе.

С бору по сосенке специалисты, на сапожном верстаке сверстанные видеоконтрольные устройства, поминутно печатающие изображение камеры, взрывающиеся светильники, – только начало перечня его хозяйства, называющегося просто и красиво: аппаратно-студийный комплекс телецентра. Чтобы этот комплекс дышал хотя бы на ладан,

приходилось ковыряться в каждом узле с ночи до начала репетиций и во всякую минуту, когда отключалось электричество. Диву даешься: когда Вадим Амосович успевал хватать словечки и выражения, которые окружающие впервые слышали только от него, неужто успевал еще и читать?

– Гомер хорошо видел мир, потому что был слепым...

– Христа распяли именно за то, что он проповедовал: если тебя ударили по левой щеке, подставляй правую...

– Жизнь свою надо видеть так, как она будет выглядеть в руках прокурора.

Забавные выраженьца он рассыпал между стойками передатчиков и пультом управления, мало заботясь, чтобы в них вникал еще кто-то. Говорил с умной техникой. А людей сторожился. Когда на летучке силится прозвать его мнение о праздничной, весьма подбострастной программе, он увиливал от оценки тем же излюбленным манером:

– Я высказался бы, но Козьма Прутков мне завещал: свежим воздухом дыши без особенных претензий: если глуп, то не пиши... а особенно рецензий.

И садился, едва ли не затыкая уши, чтобы не слышать славословий по адресу всякой мути.

Тайные драмы подстерегали Волоха на каждом шагу. Уж на что невинное радиолобительство. Ночное постукивание наедине с собой собственным ключом. То откликнутся прибалтийцы, такие же, как и он, знатоки сотни интернациональных слов: Кто ты? Как здоровье? Желая процветания! То вдруг испанец или грек, с которыми он суховаато обменивался самыми стандартными приветствиями.

И вдруг однажды – далекая Иордания. Мягкий гортанный щелчок – и страшная фраза: «Сейчас с вами будет общаться Его Величество король Хусейн!» Спина похолодела, в затылке посыпался песок, к темени прикоснулась холодная медь. А вдруг и любительские волны, как телефоны, контролируются майорами?! Что он лепетал ключом, как сучил ножками

при этом, Волох и не помнит. Потом неделю не спал в ожидании приглашения в зеленый дом на беседу. А уж работал с тщанием и рвением, чтобы доказать, что он наш человек и отнимать его у Севки-Тольки нельзя, кормилец ведь.

Начальник радиотелецентра отказался запускать второй канал на месяц раньше срока, а потом заделывать про-рехи:

– Обкому хочется исправненько доложить, а мне нужна исправненькая картинка, лучше первого канала, – сказал он секретарю по идеологии.

Естественно и экстренно под телебашней образовалась вакансия. Ее, по закону ротации, заполнили главным инженером, полусонным пьянчужкой, сидевшим в управлении только благодаря отцу, московскому генералу.

В спешке не стали далеко искать нового главного инженера – под рукой был мужик, перецупавший все лампы и спайки, кабеля и параболы, держащий в голове схемы и программы. Он не совсем наш – не выступает с речами во здравие, не сидит в президиумах, не ездит «на хату», даже не пьет и позволяет сметь свое суждение иметь. Назначили Волоха.

Пришлось больше втягивать голову в плечи, обходя чужую дурь. Но... Из Латвии приволок списанный автобус передвижной станции, из Киева – списанную студийную аппаратуру, которую там заменили списанной на московском телецентре... Надо было почувствовать, когда, к кому и как обратиться, чтобы заполучить столичную рухлядь. Надо было уметь перепаять и перемонтировать узлы и детали, чтобы обновить ее и принудить работать на втором дыхании. Волох чувствовал и умел.

Всю дальнейшую карьеру Вадим Амосович не получал от начальства ни малейшего поощрения, никакой подачи. Отрабатывая счастье не быть упрекаемым за то, что жена еврейка, а сам политически пассивен; да еще право не сидеть

в президиуме. Помогала ему страстная привязанность к новому делу и талант говорить с техникой «на ты».

У судьбы много поворотов, чаще опасных. Московский генерал забрал спивающегося сына в столицу. Обком не мудрствовал лукаво: перекинул Вадима Амосовича в кресло начальника. То есть добавил ему забот: о зарплатах и лопатах, о колесах и насосах, о холстах-красках и прочих неувязках.

Двор телерадиоцентра стал озеленяться, хозяйство приобретало домашнюю чопорность, обновилась мебель, лодыри снимались с подвижных мест и усаживались вахтерами для дремы, молодежь получала ответственную работу. Даже с приходом перестройки, потом, при независимости, люди получали зарплату, а программы выходили своевременно. Техника не подводила.

И вдруг – Вадиму Амосовичу стукнуло шестьдесят лет. А потом, как-то поспешно, исподтишка, – шестьдесят два. Пенсия. Покорно оформил. Сорок девять тысяч купонов и восемьдесят шесть копеек. На недельку питаться одному, лишённому аппетита. Никто не слышал нареканий: мол, за круглосуточные труды, за стаж сорокалетний, за талант неподдельный...

Знакомый журналист, беря у губернатора интервью, вернул:

– Вы уволили Волоха на пенсию, ждите, что телебашня каждый год будет опускаться на десять метров в землю...

Сановник, о чуде, оказался понятливым. Куда-то звонил, кому-то что-то говорил в Киеве. Там уразумели по-своему. Не вернули здорового и моложавого специалиста на место, а пригласили в столицу и назначили:

– Будете представителем Национального телевидения и радио у себя в области.

Голова совсем вошла в плечи.

На месте получил кабинет, ставку, но не получил ни малейшего представления о работе, чужой и скучной, да и вообще, нужной ли...

В глазах застоялся ужас.

Просиживал в одиночестве дни, заходил в кабинеты главы объединения, в апартаменты зама...

Вместо двух государственных программ наблюдал шесть: одну украинскую, одну – вашим и нашим, – такая смесь позиций и взглядов, что заурядный зритель мозги сломит, – и несколько частных. Приватными программами ведали евреи, и Волох, в силу флюидного семейного влияния, а может, исторического признания первичности иудеев, симпатизировал им. Их ориентации на вкусы своего зрителя, их уступкам доминирующему в крае русскому языку, умению подпитываться от самых денежных спонсоров и самых дельных производителей программ.

Гостелерадио выглядело самым тупым. Болезненный, неодаренный руководитель, привыкшие работать только на «свой интерес» журналисты и операторы, полное отсутствие режиссуры. А уж «говорящие головы» со стороны – мутанты – так агитировали за нэньку-риднэньку, что результат получался обратный.

Вадим Амосович помнил, что всю его жизнь крестьяне, сбежав в город, тут же избавлялись от украинского языка, признака рабской психологии и общественной ординарности. А тут во главу угла ставился немедленный переход на украинский. В столице, на Больших советах, он слышал плохую украинскую речь, чувствовал психологию приспособленцев, не умел поверить в искренность панов, прихвативших власть в масс-медиа, да и в державе...

Человек задумался. Впервые приносил в кабинет коньячок и, тайно от семьи и мнимых сослуживцев, выпивал. Позволял себе с занятым видом удаляться со службы, сворачивать на пляж и пробовать «проветриться». Ничто не занимало душу. Даже чтение. Пробежит полсотни страниц, пойдет окунуться. Ветер отмотает дюжину-вторую страниц обратно – он приходит, аккуратненько ложится над книгой и читает повторно все подряд.

Не было в человеке национальной идеи, профессия не та! Возненавидел свою службу, а с нею и себя лично. Стукнуло шестьдесят пять, возраст, допустимый властями служить им, – возраст покойника.

Волох подал в отставку. И тут сюрприз: как государственному служащему ему обновили пенсию – дали в десять раз больше! За что? Сам себя спрашивал. За сорок лет умелой самоотверженной работы – пятьсот теперешних гривен, а за три года присутствия с полным душевным обращением – пять тысяч! Совесть зазрела.

Упился старик по-настоящему, даже всхлипнул. Но пенсию принял... Такова жизнь...

(«Вторая пенсия»)

16

*О*днокашник моего героя рассказывал:

– Маляров писал мне: «Я не мог творить в крупном театре, там надо пробиваться врукопашную, на это уйдут основные силы. Я не удержал свое многолетнее хобби, телетеатр: отцы ТВ никогда не понимали предназначения телевидения. Вообще, мне не дался коллективный труд. Я избрал одиночество – литературу и делал свою словесность из подлинной боли и скрытой насмешки. По А. Герцену: «Писатель не лекарь, писатель – боль».

В последние слова поверит всякий, кто читал большие вещи Малярова: «Престижный студент», «Худший из пороков», «Сублимация», «Love-love», а также лучшие его рассказы. В доказательство вот маленький шедевр.

...В невестах Оксана смотрела на дедушку Петра насто-роженно. В невестках, когда дедушка достал из своего без-размерного чулка деньги ей на квартиру, она полюбила его.

– Добрый, – дробно смеялась и нежно вздыхала Оксана и говорила Кириллу: – Твоим родителям к свадьбе устроил получение жилья, сам обитает отдельно, чтобы никому не наскучить, и вот нам... со всеми удобствами.

– Ну и славненько! – радовался молодой супруг. – Только к чему здесь вздохи?

– Да вот, как-то сразу приуныл дедушка. И не на шутку.

– На семьдесят девятом годочке козликом не попрыгаешь.

– Тут другое. Забыл он где-то свою любимую трость. С зарубками. Красивые такие затеси, в четыре ряда по всей длине и окружности. Я насчитала ровно триста. Эдакое художество!

– Я видел у него в загишке другую такую же. Пусть с нею ходит.

– Кирюша, другая не довершена, всего до половины нарезана. Сто двадцать семь зарубок.

– У-у, глазастая! Сосчитала. Дедушка нас к себе пускать не станет. Старики не любят, когда им в душу заглядывают. Заметит – и лишит нас дотации от своей царской пенсии.

– А ты заметил, его старость похожа на старость английского писателя Сомерсета Моэма? В шесть поднимается, садится за рукопись своих воспоминаний. В десять часов прогуливается по садику, в одиннадцать выпивает стопку коньяку и завтракает. Ланч это называется у англичан. Потом дремлет, потом навещает сослуживцев, кто еще жив, бодрствует по хозяйству, просматривает программы телевидения. Папа и мама спорят перед экраном, поносят правительство, а он спокоен. «Ничего, все поворачивает к порядку», – говорит умиротворенно.

Уклад жизни Петра Никифоровича нарушился заметно. Сон пропал, высокая стопка рукописи лежала без движения, прогулки прекратились, прием коньяка участился. Все его время принадлежало поискам трости с зарубками. По-

вторно посещал приятелей: не у вас ли забыл? Обшарил свой садик, городской сквер, парк за рекой. Спрашивал у встречного и поперечного. Наконец поместил объявление в двух газетах с обещаниями щедрого вознаграждения. И все молчал, таился и хирел.

Семья сговорилась и купила ему щенка бультерьера. Преднесли с помпой, вручили паспорт с родословной. Через день увидели собачонку на руках у соседа по даче, вместе с паспортом и дорогим ошейником. Приглашали на море, отказался. Привели милую старушку, которой, по слухам, Петр Никифорович симпатизировал еще после войны, до своей женьитьбы. Нем и глух был старик.

– Дедуля, – оставшись наедине с ним, увещевал Кирилл. – Нельзя же так привязываться к вещам. Ваши большевики осуждали это. Вещизм, мещанство! Похоже на идола, фетиш!..

– Много ты знаешь, внучек! – к вело возражал Петр Никифорович. – Эти зарубки возвращали меня в молодость, успокаивали старость. Смотрел и думал: пройдено только начало, главное еще впереди...

После этого дедушка стал избегать родственников. Видели его издали: все шарил по закуткам дома и сада, хватал за лацканы приятеля, который едва держался на ногах, и все долбил ему в грудки, как дятел. Однажды, соскользнув с кресла на ковер, украдкой плакал. Стал неряшлив, брился редко, к еде едва прикасался. Дочь оставила работу, назирком ходила за ним. Тогда он уходил из дому надолго. Ожидали его допоздна, дежурили по очереди. В свою смену, скучая, Кирилл полистал его воспоминания, припрятанные за пишущей машинкой. Старческая, неуверенная печать, мазки от копирки...

«Поднимался до свету, принимал стакан. Спускался в подвал. Становился в нишу. Справа тьма, передо мной – полутьма, слева – желтый блик. Из тьмы приближаются шаркающие, топчущие, вкрадчивые, безразличные, – какие

там еще бывают? – шаги. Шаги одного. Я тоже один. Тень минует меня, попадает в блик. Затылок в отворот, в три четверти. Обросший, лысый, седой, юный, – какие там бывают? – затылки. Я взвожу руку, ласкаю курок... Потом иду, принимаю еще стакан. Полковник разрешает два стакана и зарубку на трости...»

Дедушка умер. Семья лишилась льгот по оплате коммунальных услуг и дотации.

(«Трость с зарубками»)

17

*Ка*ждый вечер Маляров стоял в задумчивости перед образом Иисуса Христа, удивлялся доброте Всемогущего, который ни за что одарил его долгой и здоровой жизнью, удачным сыном, куском хлеба и нашептал ему на ухо несколько хороших литературных вещей. С надеждой на внимание Вседержителя просил щадить его детей, внуков и близких людей.

И в то же время известны реплики маэстро, рассыпанные в рукописях и среди добрых людей:

«Бог есть, но при чем здесь религия?»

«Иисуса Христа я встречал, но он не был богом».

«Язычники ближе всех к Всевышнему».

«Я не боюсь Бога. Какой смысл бояться силы, абсолютно властной над тобой?»

«Церковь при большевиках не актуальна. Появились агитбригады, кинотеатры, наконец, телевидение. Бездушные земляки получили возможность почесывать свои нервы чужими стараниями, не обязываясь перед Всевышним».

Как только наметились ростки свободы слова, Маляров опубликовал миниатюру, много говорящую о его простецкой душе.

...Серенькая весна семьдесят четвертого года.

– Кормилец! – голос благоверной с кухни. – Ты хоть помнишь, что твоему единственному сегодня четырнадцать?

– А в каком он классе?

– Дохалтурился! У сына новый классный. Англичанин.

– А что, своего не могли подобрать?

После короткой паузы от печки – новая идея:

– Завтра праздник, свозил бы парня за город.

– Таких денег нет.

– Ну, сводил бы в концерт.

– Та же проблема.

– Сегодня всенощная. Покажи ему церковь на Пасху, обойдешься без проблем.

К полуночи прихожане осаждают храм, наводняют двор, тусуются за чугунными воротами. К паперти живой дорожкой струятся нищие, латаные, косматые, увечные.

– Смотри, у нас и церковь только с очереди возьмешь, – улыбаюсь сыну.

– А если я тебя возьму на карандаш? – одергивает меня голос из засады.

Богоугодник, что ли, даже рука тянется подать ему. Ан, нет! В летах, линиялый, но из присмотренных.

– Прыщ! – определяет он меня не без таланта. – Сам задурманенный, так еще ребенка калечит. Фамилия?

В присутствии сына я чувствую прилив гонора: представляюсь, что-то мыррю о творчестве в телевидении и на театре, о параллельном преподавании в институте культуры... вворачиваю о правах человека.

Через минуту чувствую, что возмущаюсь в тряпочку, оттерт, заулюлюкан и уже переминаюсь далеко за забором.

...В понедельник со мной у проходной забывают поздороваться две активистки. На репетиции творческая группа слушает меня вполуха. В обед меня вызывает Председатель комитета по ТВ. По-горьковски потирает широкую бровь, вздыхает из последнего:

– И нащо воно мени?

– Вы о чем?

– Я нэ хочу розбираться, о чем. У мэнэ и так голова пухнэ. Финансирование, кадры, всякий осэл, от пенсионэра до сэкрэтаря обкому, смотрит наши программы и звонить. Кому? Мэни. Еще и ты со своими вытрэбеньками! То Мазену за поэта выдаеш, то хипарей з базару збираеш на интервью, то хрестык пид сорочкою ховаеш... Ты на який планети того?.. Я не можу, нэхай колэктыв того... Завтра ж!..

Есть пословица: волк собак не боится, ему претит их лай. Это про меня и мой коллектив. Скисаю. Пробую отвести собираловку хоть на малый срок, до притупления впечатлений. Заговариваю о конституции, о свободе совести, вероисповедования. Шеф отечески разъясняет:

– Уйдешь с идеологической службы, начнешь зарабатывать на хлеб честным трудом, тогда уж тихонько так, чтобы другим не досталось, в закутке и молись.

Председатель из села, ассимилируется с трудом и потому не все еще утратил. Как-то распекал меня при товарище из райкома:

– Ходят слухи, что ты на репетициях употребляешь слова, которым не место в этих высоких стенах, – начал было вполголоса. – Как может интеллигентный человек прибегать к словам... язык не поворачивается повторить, в своем лексиконе не сыщу... – распаялся, разжигался старик и: – В общем, кончай матюгаться, бо я или выговор тебе вкатаю, или вообще выгоню у е... мать! – Дословно и патетично был закончен разговор.

Председатель понимает все лицемерие властей, его можно не бояться.

В актовом зале по мою душу собираются люди совковые, поднаторевшие в стратегии и тактике пожирания инакомыслящих, накопившие личные и служебные счета со мной, главным режиссером. Двое жаждут моего места...

Реликт номер один. Похож на вертикальное коромысло, одновременно на отца совковой идеологии Сулова. Сухо поплеывая, подергиваясь всяким суставом, он музыкальным голосом кантиленирует:

– Четырнадцать лет назад, когда я два месяца сидел на его (то есть на моем) кресле, город знал только успехи, тьху-тьху! Храм снесли в центре, в том числе. Так некоторым моего образования было мало. Варяга привадили. Я предупредил: результат скажется. Оставлять так нельзя, надо решать обратно, тьху-тьху.

Вторым в программе выступает истовый ратник во дни мира и истовый пахарь на трибуне, красивый, обласканный женщинами и властями, хлопает себя по заднице – там, в кармане, его партбилет:

– Я коммунист, я не могу переносить кощунства! Это же аморально – ходить туда, да еще с ребенком. Кого мы вырастим под крестами?

И в таком духе от «а» до «я».

Слушаю и боюсь сдвинуться по фазе. Это он переворачивает понятия с ног на голову? Или я уже воспринимаю мир зеркально? Заткнуть бы уши, не то взреву... Лица ораторов меняются, голоса тоже, а я не вижу перемен. Раздалась жалкая реплика с места: «Он же и в храме не был... Ему бы как художнику для познания жизни»...

В три глотки недоумку тут же разъяснили:

– Не был? Одно намерение уже наказуемо! А познание жизни? Пускай ходит на политзанятия!

Дальше пошли тирады, как об отсутствующем, усопшем, топтали, отвернувшись от лежащего. Я и впрямь решил, что меня уже нет. Однако самой низкой была все-таки моя речь:

– Я того... проходил случайно. Говорю шутя сыну: хочешь того... посмотришь, как поют бабки с запавшими ртами? Нет так нет, прошли мимо... подумашь...

И гаденько так стало на душе, ну просто невыносимо гадко, и надолго. Ходил потом по улицам, решался подать в отставку. Тут народец утвердил себя выше меня в моральном отношении, а значит, может считать себя надо мной и во всех остальных. Ни один из моих творческих подручных не читал Шопенгауэра, но подленьким чутьем раба дошел до его формулы. Если «а» неправо, а «а» и «б» тождественны, то и «б» неправо. Фу, я зашел черт знает куда! Надо, надо уходить от позора. Есть же у меня почасовые в институте, попрошусь туда на полную ставку – тяну же курс неплохо, люди там тоньше, уважают меня...

Я не ошибся: заведующий кафедрой – человек иного склада, умеет режиссировать не только на сцене, но и в обиходе. Сидит мрачный, на мое приветствие с налетом подобострастия или заискивания он только кивает и снова потупляет очи. Перед ним крупно исписанный листок с цепким словом «Заявление».

– Что это? – сразу реагирую я на слово, которое весь день вертится у меня в голове.

– Да вот, – тянет коллега вместе с моими жилами. – Ухожу.

– Что так?

– Декан прознал, что студенты ходят на всенощную. Наши, от культуры... Во главе с педагогами. Говорит, преподаватели детей воспитывают втуне... где уж тут социалистическую нравственность! Довоспитывались.

Хочется разогнаться и врезаться в острый угол. Хватаю заявление коллеги, рву его долго, долго. Сажусь и пишу свое. Говорю:

– Вот. Ухожу я. А вы у меня набираете очки. Вы талантливы.

Есть и такая пословица: утопающий хватается за соломинку. Звоню в театр, поначалу везет: директор на месте, сам берет трубку.

– Как там наши переговоры о разовой постановке?

Пауза красноречивей монолога под занавес. Потом свойски, как бы ничего не случилось, обыденный и заудаленький тон:

– А вот сходим в отпуск, съездим на гастроли, начнем следующий сезон... тогда и вернемся к переговорам. Осень весны мудренее.

Остается положить трубку и спрятаться от всего обложившего меня... дома. То есть там, где спрятаться невозможно. Возвращается с работы жена и – с порога:

– Ну, во что ты там снова вляпался?

Возвращается из школы сын и проходит в свою комнату, не глядя на папочку и не здороваясь. Иду за ним:

– Что ты?

– Англичанин велел тебе прийти.

– У тебя неприятности?

– У тебя...

– Не пойду.

– Почему?

– Английским не владею.

С той минуты я отшучиваюсь по всякому поводу. Говорю перевертышами: «Ехала деревня мимо мужика. Вдруг из-под собаки лают ворота»...

Работаю на потребу, спуская рукава и одними штампами. Бога не упоминаю, храмов сторонюсь. Таким меня хотели видеть, таков я при свете дня вот уже много лет. От фальшивых, жизнеутверждающих улыбочек ломит скулы. К ночи хочется упрятаться в другой мир: в робкое угасание свечей, в уютный хор бабушек с запавшими ртами, в Писание, которому нет места у нас.

Честь унизилась, а низость возвысилась.

В дома разврата превратились общественные собрания...

И лицо поколения стало собачье.

(«Посещение храма»)

Путный шарик и остряк с десяти- до восьмидесятилетнего возраста, Маляров с детства и каждый день своей жизни был чуток к людям, уступчив и мало чего требовал для себя. Я видел его скрыто всплакнувшим. Подкрался, спрашиваю:

– Нездоровится?

– Да нет. Вспомнил, как отвык от матери еще со студенческих лет. В далекой столице. Вечно не имел чем помочь старушке, потому посчитал для себя удобней не надоедать. Уже слепой и глухой, упрекая младших моих сестер в холодном отношении к себе, мама всегда добавляла: «Вот Анатолий был чуток!» А однажды, не получая от меня вестей долго-долго, проронила:

– И Толик такое же говно, как вы.

Когда умирал его отец, потом лежал два дня в светелке и его оплакивали родные и товарищи, Маляров ходил мрачным, но сдержанным. И только когда закопали на старом погосте и разошлись, он спрятался за вишневые кусты и в голос рыдал. Думаю, его веселость на людях и относительная черствость в трагические дни – все это была защита от очень сильных душевных потрясений. Он боялся потерять лицо, боялся отдаться горю и утратить стимул жизни и творчества. Если бы он поддался единому чувству, сердце его разорвалось, – такова сила его впечатляемости. В сдержанной и глубоко правдивой манере Маляров рассказывает о горестной стороне жизни. И о нравственных слабостях обывателя – вот пример...

...Паланка – это пригородная слободка, палисадник, укрепление из кольев. В моем случае – ошметок забора, подернутый валежником огород, хата под жухлой стрехой и роскошный, выставочной работы кирпичный сарай с тремя выходами: для буренки, для свинки и для птицы – в антресолях.

Купил и задумался: зачем? Казаковать? Сдавать под дачу? Перепродать? Не найдешь спросу: предыдущий хозяин сбыл мне за бесценок – потому и купил. Теперь в наказание себе копаюсь за напасть. Собираю камни на своей земле, рублю корчеватый кустарник, наращиваю плетень. У людей от потуг разыгрывается аппетит, а у меня желчь. На жену, на взрослую дочку. Они даже не посмотрели, в какую сторону укатил мой трепаный «москвич» с двухдневным запасом харчей – на уик-энд!

Виноватое покашливание из-за калитки принудило меня поднять голову. Спиной к взлетающему солнцу, свесив локти с ограды, стоял поросший невнятной щетиной, косматый мужичок в линялой ковбойке.

– Хороший пан все делает сам! – вместо приветствия натужно и угодливо посмеялся пришелец.

– Наши Боги послали вас на подмогу!

Я воткнул лопату, поднял моток шпагата и подошел к едва наживленным на кольях прутьям. Как-то само собой конец бечевки попал в руки косматому и ловко зашнырял между вбитыми в грунт опорами.

– Ненадежно все это, – деликатно заметил он. – За зиму истлеет. – И тут же выдернул из кучи несколько обглоданных прутьев, пропустил через кулак, щелкнул, как арапником, и принялся прошивать ими прочные побеги.

Молчали. Убивался жаворонок, затылок пощупывал первый зной, подала голос горлица на сарае. Я помогал – он ушивал. Понятно, придется выставлять бутылку. Час спустя я полез в погреб, горловиной выходящий из-под все той же новенькой подсобки. Протер шаткий стол в тени, подбросил стружек в печку среди двора. Мои действия поощряли незваного батрака. Работа спорилась, рубаха в блеклую клетку полетела на сук яблони, обнажилась тощая, жилистая грудь и прочие мослы. Над правым соском глубокая ямка, словно от пули, и сидящий пушок вокруг нее. Лицом к свету

незнакомец казался похожим на монаха средних лет или расстригу, которому не везло с растительностью вокруг рта да со смирением. Скулы играли, рот поминутно раскрывался, собираясь подать звук, но тут же мокрые губы уходили в усы. Только теплое бормотание доносилось:

– А лоза вербовая, к весне тын зазеленеет.

Потом долгий взгляд на мои беспомощные упражнения со сковородкой и секачом. Наконец невинное замечание:

– Человек умственного труда. И дома – женщины, и не одна... Позвольте-ка я вам подсоблю.

Салат он шинковал, как фехтовал, а мясо рассек на лету, да ровненько, с явным удовольствием во всем теле.

– Откуда сноровка?

– Чертову дюжину лет провел корабельным коком! – и хихикнул так, словно соврал и не опомнился.

Чарки я наполнил с нахлестом. Он поднял не пролив:

– Будем людьми, как говаривал боцман из молдаван.

Пил он смачно, не спеша, ликуя.

– Повторить?

– Слишком большое наслаждение, чтобы злоупотреблять.

И тут не поймешь: озорничает или впрямь глубоко высказывает наболевшее.

– Балык рубите – объяснимо: корабельный кок. А оградку вяжете?..

– Это из области мечты. В открытом море все годы чудился замкнутый хуторок в степи... И потом, мой боцман из молдаван говаривал: если человек хорош в чем-то одном, он неплох и в остальном.

– Про молдаван говорят – дураки...

– То дураки говорят...

Ел мой гость, как и пил, аппетитно, торжественно. Даже смутился:

– Извините, редко удается. Отпускают камерников только на субботу-воскресенье домой на подкормку.

Я поперхнулся, тут же, спасая лицо, приснул наигранно – мол, дошла шутка.

– А вы что же дома не подкармливаетесь? – справился.

– Там засада. Я на счетчике.

Я готов был пронзить его взглядом, только бы дойти до истины. А он играл зрачками. Они расширялись, сужались, убежали. Рот по-прежнему приоткрывался и не говорил всего.

– Звать-то вас как?

– Стоит ли?

Во всем облике его чувствовалась порода, запас чего-то, что дается не каждому. А во всякой реплике светились реалии из теневого мира. Дурачит, мил человек, цыганит на хлеб. Навострились паразиты в наше забубенное время!

А этот паразит после обеда сгреб полтонны камней с пашни, вывернул их в ров, да так аккуратненько, что образовалась кладка, через которую запрыгал, процеживаясь, ручей. Успел еще разрезать пополам дверь в хлев, так, чтобы будущая коровенка могла выглядывать на мир Божий, а выйти – извини.

– Видел такое у фламандцев.

Солнце садилось. Он вышел за калитку, долго смотрел на далекую рощицу.

– Отсюда красиво, – сказал с кривой улыбкой. – А выйди на опушку – насвинячено, порушено, деревья хворые... Прости нас, Господи, если еще можешь... – И повернулся ко мне с обычным озорством: – Ну что, на посошок?

Выпил стоя. Торопился. На сунутую ему в карман купюру не обратил внимания.

– Я подвезу вас, – с готовностью я нащупал ключ от седана.

Он красиво покачал косматой головой:

– А там вас выследят. И жди на днях не одного незваного гостя, а двух или трех. Да еще с расспросами. Я уж как-нибудь автостопом.

Руки не подал. Ни печали, ни радости при расставании не обнаружил. Вот так.

Ночевал я один. Прислушивался. Жуть поселилась в тихом хуторке. Собаку завести, что ли? Двустволку купить? Но поди знай, на кого пса травить, в кого стрелять. Подойдет вот такой ручной, свойский, а он – из бандитов.

Спал чутко. Аукнет филин – знак; треснет ветка – шаги. Все-таки одиночество и неведение – отрада для души, а многие знания – умножают печали.

Понедельник. В городской квартире супруга включила телевизор и потребовала тишины: читалось обращение уголовного розыска. В кадре стояла черно-белая фотография моего косматого знакомца или незнакомца, скорее, прохожего.

...Найден труп. Особые приметы – дырочка над правой грудью. Кто может сообщить что-либо об этом человеке, звоните по телефонам...

А что я могу сообщить? Я видел, как человек с открытыми глазами прожил свой последний день. Об этом – в рассказе... Не позвоню.

(«Прохожий»)

19

У Малярова самоотверженная манера проводить в рассказах нравственную линию. Это от деда-праведника или от социалистического реализма, да простит ему Господь. Но... Чтобы войти в доверие к читателю, он пороки приписывает первому лицу, а все низкие побуждения и поступки вытаскивает из самых темных уголков своей души, даже если они только заглядывали к нему извне и были отвергнуты им сразу же. Третье лицо он одевает в ризы. Убедительный прием и производит на читателя

самое нужное впечатление. Тут есть отвага, которая сравнима с убийцей, сразу пришедшим с повинной. Разница только в том, что автор исподволь, по частицам убивает себя в глазах наивной части читателей. Выдающаяся вещь – маленький роман «Худший из пороков». Да и следующий рассказ достоин почтения.

*...Спектакль на третьем актерском курсе – зрелище при-
близительное. Длинношее, излишне загримированные,
взвинченные исполнители; актовъ зал, набитый пригла-
шенными, много педагогов со званиями и гордыней...*

И не хватает «штанов» на роли.

*Так я впервые увидел Ярика Пацюченко с режиссерского
курса в образе Сатина, в «На дне».*

*– Органон... Сикамбр... Когда я был мальчишкой, служил
на телеграфе, я много читал книг... Я был образованным че-
ловеком.*

*С похмелья, с трудом выковыривая слова в омертвелом
мозгу, этот двадцатидвухлетний бледнолицый старик, не-
когда хорошей стати, с глазами-прожекторами, с ноздрями-
салазками, – один держал поднаторевшую, пришедшую на
психологический и творческий опыт публику.*

В антракте брезгливый голос гнусавил в курилке:

*– Ярику легко прикидываться, он с отрочества не чужд
алкоголя...*

*– Они не знают Омара Хайяма, – месяц спустя, ни к кому
не обращаясь, парировал Пацюченко эту реплику: – Живи,
безумец! Трать, пока богат! Увы, ты сам не драгоценный
клад. И никогда не сговорятся воры из гроба вытащить те-
бя назад... А чтобы жить, нужна смелость... – И добавил: –
Пятый класс, на именинах мне дали чарку. Потом поцелова-
ли. Женя с заморочной фамилией – Уманец. На другой день я
снова хотел ее поцеловать. Не смел. А выпил и – поцеловал.
Она терпела, ведь я пьяненький, мне все прощается...*

На четвертом курсе моя комната оказалась рядом с вахтой. Слышу, у выхода топаят тяжелые немецкие ботинки на солдатских шипах. Ясно, кто все годы в институте ходит в таких. Потом въедливый голос вахтерши тети Сони:

– А что это, Яра, ночь, а ты все меряешь коридор?

– А я жду своего слепого друга Слободянюка, может, у него что-то есть.

– А где же он после двенадцати? – любопытство скучающей дамы заостряется.

– У женщины, мамаша, у женщины.

И снова отдаляющийся и приближающийся грохот шипов.

– А если он слепой, как же его женщина принимает? – не унимается вахтерша.

– Бабуля, вы латынью владеете? Так вот, у Слободянюка ненормативный пенис.

Дальше скандал:

– Дурак ты после этого!

– А вы и до этого не были Афиной Палладой!

Назавтра комендант беседовал с Пацюченко, и к концу диалога вышел начальник из своей кутузки потным и виноватым.

Ярослав же блеснул на пробе в киностудии, был приглашен на роль, но на радостях выпил в ночи со знаменитым артистом Дружниковым, прогулялся к устью бульвара, и беседа о высоком, состоявшийся и начинающий гении не заметили, как справили малую нужду под памятником величайшему из вождей. Все сошло бы, но акт сей произошел на глазах милицейского патруля.

В комитете комсомола Пацюченко припомнили, что он уже на карандаше давно: еще до публикации решения Пленума обзывал Сталина врагом народа, жил невесть из чего, так как за стипендией являлся после всех и украдкой. И никому в голову не приходило, что этот башибузук и эрудит по-

хуторски стесняется денег, а лицемерить и прикидываться ему вообще претит.

В обожаемом институте его не стало.

Два года спустя меня, дипломированного специалиста, пригласили в Днепрпетровск, на телестудию. Дирекция уговаривала:

– Там дают квартиру и высоко ценят людей новой профессии. Там всего один настоящий режиссер, но его судьба висит на волоске. Может, знаете, популярный такой, фамилия Никитин?

Да, слава этого Никитина жила отдельно, а судьба отдельно. И это оказывается – Ярослав Пацюченко.

Приблудился он под только что родившуюся телебашню, огорошил провинцию, до которой видеосигнал из центра еще не доходил, циклами программ, телеспектаклями, сонмищем постановочных идей. Попутно выпил все пиво в кривобоком ларьке через дорогу от идеологического учреждения, отбил Наташу-дикторшу у старлея из компетентных органов, причем, шептались осведомленные, отбивал прямо на рабочем месте. Расписался с нею, при этом поменял свою неблагозвучную фамилию на ее поэтическую – Никитин! Прославил город и сам прославился. Тоже: отдельно город, отдельно – Никитин-Пацюченко. Теперь его увольняли. Мне предстояло стать преемником его добрых дел и затушевать его двойное недоброе имя.

Как-то внезапно в городе не оказалось ни Ярослава, ни Наташи, ни их крохотного младенца. Осуждающие доносили, что ушла скоропостижная семейка чуть ли не пешком, с котомкой за плечами, куда-то на север. Кому нужен эдакий дурак без диплома? Шептались в курилке: даже трудовую книжку оставил.

Я не обладал чутьем и просвещением Пацюченко-Никитина, но был пай-мальчиком. Снимал на пленку изуродованные поля Криворожья, снесенный гумус, сожженные перелес-

ки, вывороченные недра – и выдавал это за «шаги пятилетки» и «горизонты коммунизма». Собранные с трех полей вороха кукурузы на моем телеэкране выглядели как урожай на одном участке героини труда и народной избранницы. Я не пил, не курил, даже приехавшую на смотрины будущую жену оставил ночевать в своей комнате, а сам перекапывался у сотрудников.

В общем, меня выдвигали. Два года спустя перевели в Николаев главным режиссером телестудии.

О Ярославле доходили верные и неверные слухи. Мол, подвизается в студии Тюмени, потом – в полупрофессиональной труппе Нижневартовска. Еще время спустя: Наташа покинула его. Он запил, попал в милицию: его оскорбили, он ударил капитана, ему проломили голову – инвалид теперь он... Живет у мамы под Винницей, ест ее сухую корку, запивает подручным самогоном...

Заняла моя благонадежная душа. При первой попавшейся вакансии режиссера в нашей студии я разыскал адрес бывшего однокашника и пригласил его на работу. Явился он все с теми же ясными, праведными глазами, с теми же ноздрями салазки, похудевший, порывистый и, кажется, в тех же немецких ботинках на шипах: это после пяти лет талантливого труда! Фамилия его была только Никитин. Пацученко исчез, чтобы не унижать мастера.

Я хотел осчастливить скитальца. Добился для него выплаты подъемных, устроил комнату в общесемейке и дал для дебюта лучший сценарий о передовом колхозе области.

– Вот, сними десятиминутку, блесни и завоюй признание.

Вместо обычных трех дней он скитался неделю. Приехал сумрачный и молчаливый. Я понял так: с перепоем.

Уважаемый художественный совет просмотрел пленку. Тоже онемел. Ржавеющий в поле трактор без гусениц. Мимо ковыляет старуха с торбой, из кабины вылетают одичалые куры... за овинком вклеилась в навоз и присохла некогда белая

гусыня. Бьется, дрыгает лапкой, глаза подернуты смертельной поволокой... отъезжает раздрызганная полторка с убогими пожитками и многими детьми в кузове, открывает избоченившуюся, давно не беленную хатенку под стрехой и лист картона, на нем: «Продается за 100 рублей»... Шаркает по глубокой пыли пьяненький касатик и поет: «Якбы мени жинку симнацяточку!»...

Директор вышел из зала еще в темноте. Редактор написал объяснительную с доминирующим словом: «пасквиль». Я закрылся с Никитиным в кабинете.

– Ты что, с печки упал да не опомнился?

– Вы дали мне сценарий, в котором сплошное «Ура!», а я увидел ваш передовой колхоз и вскричал: «Караул! Суета сует и запустение».

– Ты что, князь Мышкин, двадцать лет тщетно лечился в Швейцарии?

– Должен же хоть кто-нибудь, хоть иногда проснуться идиотом!

– Глупец, тебя же выпрут!..

– А куда меня могут выпереть от себя?..

– Ты, наверное, с бодуна?!

– Куприн творил лучшие строки, Хмельницкий выигрывал сражения с того же бодуна...

– Прекрати!!

Пленка Никитина полетела в корзину. Меня предупредили о его несоответствии занимаемой должности. Я собирался с мыслями, чтобы поговорить с ним еще раз, душа моя раскалывалась надвое. Думал ведь он так же, как и я, снимал, вне всякого сравнения, лучше, да просто талантливо. Но ему не хватало гнусности жить в обществе иной пробы, не умел смирить свою волю... Я изобрел тысячу слов, чтобы напугать коллегу его же прошлым и еще страшнее – будущим. А еще рисовал в воображении его перспективу жизни в южном городе: в собственной квартире, с милой молодой,

которую в городе невест найти несложно, жизнь в почете и уважении. Я готовился сутки. Уселся в красном кресле кабинета, послал помощницу пригласить Никитина.

Ждал десять минут, полчаса. Вошла помощница:

– Его нет.

– Не понятно, рабочее время ведь!

– Он уехал из города...

И снова трудовую книжку оставил работодателям на память...

Сбежал. Может, это к лучшему?..

Администрация косилась на меня недолго. Тем более, что я закатал рукава и переснял десятиминутку о передовом колхозе в полном соответствии со сценарием, к тому же за три урочных дня.

Потом работал не покладая рук на благо партии и правительству. Получил высшую категорию, трехкомнатную квартиру; хоть и с долгами, но обзавелся машиной...

Это все к тридцати трем годам.

Ярик, Яра, Ярослав... Пацюченко, Пацюченко-Никитин, Никитин... умер в далеком селе у Винницы, на руках у одинокой мамы. Тоже в тридцать три года... В возрасте Христа.

(«Ненормативный Ярослав»)

20

*М*алеров жила в столичных отелях, праздновал в хороших ресторанах, гостил в роскошных странах. И везде чувствовал себя неуютно, вроде прокрававшегося на хлебника. Жизнь отмерял от убогой сельской провинции. Она вошла в него с голодного детства, эвакуации, примитивного труда и казалась ему единственно реальной и достойной внимания.

Не внедорожник, не роскошный «Лексус», а пара подпаленных гнедых в арбе и колхозный племенной жеребец под

драным седлом. Шикарный номер в гостинице оскорблял его: обидно было за пастуха Назара, который родился в ряднах на печи и вот – выкашливал остатки своих легких там же. В модных костюмах Малярову приходилось светиться на премьерах и презентациях, но при первом же случае он переодевался в обжитый пуловер и трепаные джинсы...

Он хорошо рассказал о мастерах пера и сцены, о чиновниках среднего и высокого ранга, сытых и ухоженных. Но куда лучше – о деревенских недокормышах и городских бомжах.

У выгребных дверей второго подъезда размножаются кошки. Именно кошки, самцов в молочном возрасте не то выдавливают матерые коты, не то разбирают прохожие. На беду двор наш – перекресток всех дорог или, лучше, на семи ветрах: через одну дорогу школа, через другую – общага университета; как остров Бали ракушечником, по всему периметру мы облеплены киосками, ятками, трамвайными торжками.

Короче, выхожу на рассвете размять свои меловые косточки и вижу: кошки с выводками оттеснены, на порог опирается ягодицей мужичок загадочного возраста, по виду – пенсионного: аккуратненько, чтобы не забрызгать доспехи, выбирает пятерней из плошек и целлофановых салфеток яства наших братьев меньших и вольготно завтракает.

Естественно, меня стошило; я сам стою в иерархии зажитка ниже ватерлинии, но дойти до такого! Не дойду, у меня альтернатива всегда держится в закутке мозгов – стрихнин.

Подхожу, деликатно обращаюсь:

– Приятель, у меня в семье две хозяйки и обе в деревне. Может, ступишь на порожек, угощу чем-то посытнее. И рюмашку налью.

Зашли, впустил его со всеми ароматами и обносками в кухню, подложил на табурет газету, чтобы не оставлять следов и потом не слушать упреки моих дам, особенно чистоплюйки-тещи.

– Садись. Вот сардельки, возможно, с примесью, но – чем богат!

В душе у меня до того щемило, что я выпил заодно с бомжиком, даже дважды.

Святой Боже, как же он меня отблагодарил! Тем, что разговорился, да содержательно, да весьма театральными монологами:

– До шестидесяти процентов экономики в тени. Интересно, что за светлые личности в этой тени рулят? Без государственных программ, утвержденных в мудром Правительстве и честной Верховной Раде, без бюджета на год и на перспективу? Их же, истинных рулевых, – значительное меньшинство, они не тратят миллиардные средства на содержание депутатов, министров, администрации Президента! Не держат дуаенов с целым выводком секретарей, атташе, шестерок в каждой стране. Не бдят о просвещении, культуре, не знают расходов на выборы-перевыборы, разве что бросают крохи на свержение оппонентов.

Одна забота у них: держаться по другую сторону софитов, чтобы своим блеском не сильно смущать среднего обывателя. Моя бы воля, я бы передал всю исполнительную власть в тень, этим прохиндеям, пусть вертят жернова, поднаторели ведь в той благовонной тени. И система управления у них совершенней – диктатура. Велел бугор – шестера выполнил. Не выполнил – теряешь место и большой доход, если эти потери не пойдут дальше, скажем, – шапка вместе с головой.

Пауза. В тишине мощный дух мудреца спрессовался и придавил меня. Я успел подумать: что случится со мной, если моя благоверная со своей чистюлей-мамочкой явится сего-

дня и я не успею проветрить наше обиталище! Но паузы я боялся больше: вдруг реле сработает и живой органчик со столь общедоступной мелодией заглохнет. Долил горючего. Вроде бы и перепрыгнул просветитель на другую волну, но формат вещания остался тот же:

– Народец у нас прост. У меня много досуга. Вот, до дня обойду свой прайд по траверсу, тоже, так сказать, в тени, чтобы не смущать «пересичного» обывателя своим видом и стыдом, перекушу заодно с братьями меньшими, заберусь в ближайший выпотрошенный скверик, завалюсь в куст и – размышляю. Так вот, антропос наш, каким-то шутником названный – гомо сапиенс, весьма недалеко ушел от нашей фауны. Доминируют в нем два инстинкта: самосохранения и размножения, разумеется, только до того срока, пока он способен переваривать пищу и различать самку хотя бы на расстоянии вытянутой руки. А комплекс у него один – страх. Сами понимаете, не лучший из пороков, о чем весомо сказано в Писании и повторено во всех нравственных кодексах.

Душа моего собеседника трудилась на полных оборотах, потому время от времени то взглядом, то словом этот присяжный ритор требовал «пять капель», попутно обогащая меня нарицательным именем от марки спиртного. Я поспешно подливал.

– Пройдитесь-ка непредвзятым глазом по нашим лидерам из любой подворотни... В каждом увидите знакомого зверушку в его главной характеристике. Только не унижайте невинное животное или птичку, чистую, обаятельную, соответствующую природе. Только сравните. У сильных мира нашего не характеры, а повадки. Скажем, как волки, которые стаяй набрасываются на слабого в поединке, когда ему пустят кровь, загрызают.

Вот еще: поголовно все прячутся от людей; хорошо, есть телеящик, в нем им появляться – безопасно, и не дотянешь-

ся и не возразишь на их косноязычную галиматью... Как шакалы, они чувствуют, где кормушка, и мчатся туда наперегонки. Мы, сырые, не лучше. Кормушка для нас тоже – альфа и омега, мечта и страсть. Но мы способны отвлечься вдруг ударившей в голову мыслью, скажем, о смещении земной оси, о глобальном потеплении; или осесть и в восторге поплакать, услышав творения высшего порядка. Хоть на минуту просветлеть от мысли, до которой без Божьей помощи ни в жизнь не дойдешь:

*А наутро снимут меня с креста
руки твои, улыбка твоя.
Но наутро я уже буду не та.
Это буду не я.
Ты меня не отыщешь в тысячах тел,
в лицах других людей.
И останется боль моя на кресте
в дырочках от звезд.*

К давно не мытым щекам бомжика прилипли две слезы. Только две, у него всего было мало: еды, одежды, слушателей, даже слез. Мысленно он крепко держал меня за уши и внушал свою правду. Я подал ему большую чашечку кофе, машинально спросил:

– Вам с сахаром?

– Если у вас есть, – сказал он как-то сочувственно.

Я всыпал ему щедро, с добрыми пожеланиями, случайно выбрав из посудницы подарок тещи – серебряную ложечку с тиснением. Это принудило его приосаниться, утереть шершавой ладонью косматую бородку и продолжить речь баском – мой гость человеком себя почувствовал.

– Они, как белки, прячут добычу подальше, иногда зарывают в таких дебрях, что потом сами не могут найти. Они, как еноты, при большой опасности могут отключиться, выйти из игры, то есть парализовать себя. Пусть хищник

треплет их, кусает – они мертвы и смердят, как старые трупы.

Как-то стране грозил матриархат, по-моему, для Украины – лучший общественный строй, так где оказались наши самые-самые? И сидели на водах, да островах, да у расчётливых соседей под крылом до тех пор, пока саботажем да коварством не вернули в наши пределы свой доходный производ. Вернули – и снова ожили, вспрыснулись французскими духами, обрели благой вид. Теперь они посещают храмы, совершенно поправ Заповеди Исхода, в речах они вворачивают с чужого голоса научные выраженьица, хотя интеллекта там – ноль. Им для счастья достаточно первой сигнальной системы...

Какая жалость: язык моего просветителя стал заплетаться. Он меня уже не узнавал, путал со своими персонажами, неожиданно обозвал Витей и корсаром, потом стал сползать с табурета. Конец мистерию!

Заскорузлый, с длинными, забитыми грязью ногтями палец уже тянулся к моему носу:

– Вы робкие, зависимые люди... От властей, от урожая, от семьи зависите, даже от меня... И всех нас боитесь. Вы воображаете, что вы в лучшие годы чем-то управляли, что-то строили! А вы только пресмыкались и разрушали кормилицу землю...

Это был уже другой человек. Пришлось пренебречь моей исконной брезгливостью, ухватить его под мышки, вытолкать на лестницу да во двор, да оглядываться, не видят ли соседи – не приведи Боже подумают... одни, что я груб и обижаю несчастного, а другие – что я сам опустился и бомжую, коли якшаюсь со столь заброшенным субъектом...

Самое веселенькое случилось три дня спустя: вернувшись из села, моя супруга учуяла-таки странный запах на кухне и в коридоре, а главное и уже совсем скандальное – теща обна-

ружила пропажу серебряной ложечки, давно-давно перешедшей к ней в наследство от прабабушки, и повысила голос:

– С кем это ты чаевничал? Тебя обокрали!

И принудила меня переворошить всю квартиру.

Все же серебряная ложечка – малая цена за золотые слова.

21

*М*алыров убежден, что и Котляревский, и Квитка-Основьяненко, и Гоголь достигли вершин в литературе... дразня хохла! И в этом нет криминала. Кто столь талантливо смеется над собой, тот многого стоит.

От него же: «Лучшая литература – это бездумно записанные факты».

Наш автор пошел дальше: он смеется над собой и развенчивает себя же.

О собственной персоне у него есть затейливый роман «На мне природа отдыхала» («Престижный студент») и дюжина рассказов. О своих близких... вот пример.

В колхозе так не работают. Лобогрейка ходит по большому кругу, ездовой с каждым вторым заходом перепрягает одного из тройки меринков, и лошади по очереди отдыхают. Сам парнишка, свалив голову набок, дремлет под солнышком в загонке. А дед Семен машет и машет вилами, выхватывает из-под лопастей пырей, длинный, душистый и тяжелый, смешанный с «грицыками» и колокольчиками, спутанный повиликой.

Это в сенокос. А в жатву дед стоит на молотилке, раздирает голыми пятернями снопы и плоскими венками подает на зубья барабана. И три, и пять часов кряду. В обед падает набок в тень на сухую мякину, наскоро прожевывает

«сидор» – краюху хлеба, дольку сала и луковицу, тут же приваливается спиной к рыхлой кочке и натужно храпит.

Час спустя, как по колоколу, поднимается, шершавой ладонью стирает с лица сон и шаркает своими истоптанными башмаками к молотилке. Так было до войны, так продолжалось при румынах, так и после освобождения. Другие выдвигались, отступали-наступали, партизанили, ораторствовали – он горбатился шесть дней в неделю, словно замаливая свои и чужие грехи.

В воскресенье деда Сеню не трогай. С утра идет через огороды к Яшке Грабовскому и пьет самогон, листает газеты, которые привозят в Мариновку в погоду телегой, в непогоду трактором – на пятый день, вникает в политику. По выходным и случаются со стариком небылицы, про которые рассказывает село десятилетиями.

Так, моторист Автонас, после вечерней чарки, попросил Сеню подежурить около динамомашины – сам пошел через гору к куме. Дед в то время клеил чуни бабам на ферму. Сидел, сидел у гудящего движка, непривычный к безделью, и родил идею. Тут же приступил к исполнению. Притащил колоду со двора, снял приводной ремень из надежной парусины и принялся вырезать подошвы для обуви. В клубе, перелицованном из церкви, погас свет, прервалось кино. Привычный к лишениям зритель пригорюнился на лавках, подойниках, ящиках, захваченных из дому, ждал. Трое вышли покурить на улицу и заметили издали, что движок пыхтит, а электрику не подает. Пошли к мотористу искать правду. Сеня их выставил, здоров был:

– Идите под три черта! Вы там зырите на простыню, а на простыне дураки бегают, воробьям кукиши сучат! А на ферме бабы по колено в навозе лето и зиму!

Судили деда, полгода высчитывали за ремень.

А то невинная выходка. На хуторе Малое Заблодское хоронили девяностолетнего Чуренка. Все свои долгие годы зем-

ляк не ходил дальше плавней Бакшалы, слева от хаты, и дальше тока на горе – справа. Однако начитанный и пьяненький дед Сеня произнес над сердешным покойником красивую речь:

– Кого мы хороним? Мы хороним основателя советской власти! Лучшего друга Дзержинского и Фрунзе! Спи спокойно, дорогой товарищ, партия тебя не подведет!

Сеня снял правую руку с грудок покойника, со всей искренностью потряс ее и положил на место.

Супруга чудака, крохотная, с детства морщинистая и нескладная старушка, рассказывала на грядках:

– На Троицу... уже и прибралась, и борщ сварила с петушком, а его все нет от Яшки Грабовского. Думаю, похлебаю сама да прикорну, так сморило с досвету... Налила Сене глиняную мисочку борщу, положила мяца и сунула за заслонку, в печь. Придет, пусть поест горяченького. Сама опорожнила свою миску, налила туда помои, всыпала щелочи, кинула тряпку, думаю, пообедает Сеня, я и помою посуду заодно. А чтобы теплое было, поставила и свое в печь. Легла в закутке подремать. Приходит мой и с порога:

«Старая! Давай борщу!» – а я не могу головы оторвать от подушки.

«Там, за заслонкой, возьми!» – говорю.

Сеня во хмелю долго тербил ухваты и кочерги, звенел заслонкой. Нащупал не ту миску, перенес на стол, перекрестился на икону, взял ломоть хлеба и, этак подставляя под полную ложку, зачал хлебать. Вроде бы и почувствовал что-то не то, проворчал:

«Разве это борщ? Не могла капусташки да бурачка крошить?»

Да проголодь взяла свое. Черпал и смаковал. Дошел до дна. Взял вилку, нож, принялся разрезать что-то узловатое. Не вышло, взял в руки и рвал зубами. Про себя сердился:

«Что за мясо! Старый бык. Не мясо, а рубцы!»

Однако глотал как мог. Я насторожилась. Встаю, иду ближе. Боже мой! И крикнуть боюсь – подавится. Постояла, пока он проглотит шмат, говорю:

«Семен! Шоб ты был здоров! Ты ж помои выхлебал и тряпку съел!»

А он так виновато погудел: «Было б не ставить. Давай на второе борщ».

Чудак был дядя Сеня. Но село запомнило его не за чудачества. Теперь рассказывают другое. Он был статен, мускулист, красив в старости и неизносим в работе. Кому стреху вшить, кому колодец выкопать – за так, разве что литровку для беседы с Яшкой возьмет. А уж уважал бабку свою неудавшуюся, с лицом в гармошку и телом в дугу. Любил, стороннему косо глянуть на нее не позволял, худого слова сказать – переломит пополам. А баба Феня помыкала супругом.

– Соломки с блоковки достань. Куму Даниле ровчак выкопай. У вдовой Гаши крыша прохудилась...

Беспрекословно шел старик по указанию и возвращался с благодарностью.

Пожились они давно. Фене шел семнадцатый. Вечерами, после дойки, она стояла у тына с Мишкой Сидачем, таким же тощеньким и загнанным, как она сама, пожалуй, и помоложе ее. Кроме телят и огородов, ни о чем не говорили, за руки не брались. А вот вошло в Феню, что это суженый...

Тут вернулся с заработков Сеня, красавец, постарше, на ноги вставал. Отец Фени как-то и говорит дочке:

– Младшая! Вечеру надевай белую сорочку, вставай у печки и ковырай пальцем штукатурку – сваты придут.

Девка плакала, не желаю, мол. Да кто поверит, ломается: которая из них не желает замуж, да еще за такого силача-красавца?

Выдали. И жила Феня с Сеней тихо, мирно, рылись в земле, ухаживали за живностью. Детей Бог не дал, что ни ро-

дятся – умирают младенцами. Не помогли им ни лекари, ни знахари. Что-то там не совпадало между супругами...

Упал старик с чужой стремянки, отбил печень. Пролезжал молча месяц, тайно грыз наволочку да одеяло... Умер с молитвой и без жалоб. Похоронили на сельском кладбище. Оставили, по обычаю, рядом место для его бабки.

Прошло четырнадцать лет. Занемогла баба Феня. Позвала соседку-учительницу. Старуха с последней слабостью пролепетала:

– Доча... ты верхним образованием владеешь... в городе на втором этаже жила... Скажи мне, это большой грех, что я всю жизнь прожила с Сеней, а в душе любила только Мишку Сидача?..

Соседка, как умела, подробно успокоила отходящую.

Назавтра пришел секретарь сельсовета, сошлись с улицы люди: видно было, что это последний день Фени.

– Что скажешь, Филипповна? Какое завещание?

– А какое... Детей нет, ничего у меня нет... курень мой кому нужен? Одно прошу: не хороните меня рядом с Сеней. Может, я на том свете Мишку Сидача встречу...

Похоронили Феню рядом с Сеней, чтоб люди не осудили...

А душа загадка, что у просвещенного, что у простолюдина.

(«Дед Сеня, баба Феня»)

22

Есть крохотные истории, которые Маляров сочинял по десять и пятнадцать лет. То есть наблюдал, проживал, выстраивал эдакую емкую историю, но в коротких словах. Он все свои вещи писал в уме по много лет, а записывал в короткие часы. При этом был уверен, что не сам он впитал материал из жизни и выносил, как мать ребенка, а Господь ему нашептал.

Дальше писательская кухня требовала, по Гоголю, дать вещи отлежаться. На три месяца и три года, забыть и сюжет, и фабулу, и персонажей. В душе теплилась только главная мысль. Потом изучал, как чужое творение, правил безжалостно. Непременно давал читать совершенно не причастному к искусству человеку, если тот улыбался, хмурился, злился, – какие там еще существуют внешние выражения эмоций?! – и с учетом таких немых замечаний дорабатывал рассказ. И публиковал. Вот безделушка, писанная много лет.

Поначалу нам нравилась хозяйка. Щупленькая, под семьдесят лет, она поднимала на четвертый этаж торбу пухлых томов, сваливала на пол у своей кровати и шла на кухню. Варила рассыпчатую гречку, поджаривала пару отбивных размером в малую казацкую чайку. Металлическое блюдо с горой пицци и полуторалитровый жбан с компотом устанавливала на тумбе у изголовья и укладывалась на ночь.

Назубрившись до легкого голодного обморока, мы, два студента, выходили из своей каморки в прихожую, на цыпочках приближались к замочной скважине спальни и по очереди наблюдали, как хозяйка, не отрываясь от чтения, уминала отбивные и гречку да еще прикладывалась к жбану. И это между двумя и тремя часами пополуночи. Мы захлебывались слюной и завистью.

Потом нам нравился хозяин. В отсутствие супруги он неслышно входил в наше обиталище, занимал все его пространство и, подняв по-римски руку, забирал все внимание на себя. Головастый, седой, в незаправленной исподней рубашке и портках навыпуск, семидесятипятилетний старец казался величавым и мудрым.

– Как мы их!.. Переступили польско-немецкую границу и припомнили им все! Возьмем окраину какого-нибудь дорфа и: «Батарея, к бою!» Филька доит трофейную коровку, Петя-

чижик мотаает за шнапсом, а я – по части фрау и медхенов. Приказ вождя с запретом мародерства зачитывали, да вовнутрь батарейцу он не вошел. Мы и не мародерствовали... Маленький интендантский рейд, только в рацион входили их фрау и медхены. Хорошо чувствовать себя петушком! Вы, салажены, за жизнь не пройдете столько, сколько я от Щецина до Потсдама прошел. Записывал имена, да записки сжег – политрук свиньей оказался, старообрядцем. Эх, «Компаненка, шляфен! Морген дам часы. Я сниму кальсоны, ты снимай трусы!»

Песенку эту мы на голодный желудок повторяли, а вот вникнуть в рейды батарейцев не могли: сказывались недостаток опыта, нищета и перегрузка воспитанием.

Потом мне понравились оба: старик и старуха. Как-то перед экзаменом по эстетике особенно засосало под молодыми ложечками. И хотя было около двух часов ночи, мы, не сговариваясь, поднялись и тенями поплыли к замочной скважине. Из-за двери доносились приглушенные, раздраженные звуки разборки. По очереди заглянули в щель. Прижались плотнее, стали задерживаться, оттягивать друг друга в сторону за тощие зады. Интересно было. Остывший ужин на железном блюде выглядел руинами Херсонеса, хозяйка, наполовину прикрытая одеяльцем, с покрасневшим и помолодевшим лицом, отодвинулась и зажалась в угол. Хозяин в неизменных подштанниках и сорочке, похожей на тогу, держал руку «на внимание» и актерским голосом из последнего акта интимной трагедии на полном выдохе сипел:

– Я сражался за родину, терял друзей, кормил вшей, а ты... как ты могла?! За пайку хлебушка, в теплом Ташкенте... Я шел «мимо берега крутого, мимо хат», советский солдат, и пули меня миновали, и хвори не брали... А почему? Да потому, что верил: тыл у меня надежный...

Народный артист захлебывался, потеряв дыхание, млял отвисшую грудь, тер лоб и виски, из последних сил продолжал:

– Наивен! Она встретила экспедитора! Она познавала в это время блаженство!.. А ну, – вдруг подсаживался хозяин на кончик кровати, брезгливо кривя морду и отводя руки, – а ну, повтори в сотый раз. Я хочу вникнуть в детали, чтобы постичь всю тонкость, всю глубину падения той, которую партия гордо называла солдаткой! Я хочу умереть, поняв женщину! Единственную женщину, которую я познал, в которой так жестоко заблудился!..

Мы едва не вывалили дверь, борясь за место у скважины. Но не шумели, чтобы не прервать спектакль.

Со временем устраивались по очереди, так как программа повторялась в среднем два раза в неделю, аккуратно столько, сколько, по науке, рекомендуется сходиться мужчине и женщине. Я понял, что старики, пока могли, занимались любовью, а теперь не могут – занимаются разборками. И договорился с коллегой, что он будет ходить к ночной скважине по понедельникам и пятницам, а я по средам – с переходом на следующую неделю. Так мы учились и развлекались...

Эта сказочка потерялась бы в памяти, как уникальный трюк, если бы не имела продолжения. Семь лет спустя, уже возглавляя режиссерскую группу, я придрался к Юре Рясенскому:

– Что ты опоздал на съемки?

Побледневший, подпухший киношник зло возразил:

– Не спал всю ночь. Зануда тесть с тещей разбирали, кто, когда, с кем и сколько раз изменял в былые годы!..

Я не переспрашивал и не уточнял, расхохотался. Смеялся потому, что воочию представил картину любовных объяснений... только через замочную скважину. И подумал: еще одна редкостная пара!

Лет пятнадцать спустя в районной гостинице наткнулся на бурное объяснение стариков, приехавших со свининой на рынок. Те же факты, только искренность перехлестывала все берега и дамбы, мат обоюдный и вдохновенный!

Уже подстарком встретил давнюю симпатию:

– Как живешь?

– Муж умер. Сейчас у родителей, покоя нет. Как ночь, так и скандал: «Я тебе не забуду Фомку!», «А я подруженьку Мотю!», «Ты мне всю жизнь отравила!», «А ты все пер босявкам!»

Теперь мне семьдесят. Бессонница. Ворочаюсь, удумался совсем. Власти не тем занимаются, оппозиция сплошь злодеи. Им бы установить правила игры и держать порядок, а люди сами себя накормят. Так нет, поняли демократию как вседозволенность. И себе все позволяют...

– Не искусство пало, а этика. Сила искусства всегда была в этике, – перефразирую я на свой лад. До меня сказал один гомо сапиенс, я повторяю...

И моя жизнь пошла кувырком. Оторвал меня черт от баранки и пустил в режиссуру, в литературу – сделал поденщиком...

И в личном плане все было походя, от воображения, в долг – одни утраты... Кому излить печаль мою?

В соседней комнате за полночь зачиталась моя старуха. Тоже, поди, огорчала. За сорок с хвостом лет совместной жизни не замечена... однако до меня были ведь, кое-что знаю... Пойти поговорить, поскандалить. Подмывает, ярит. Тормоза слабеют, излиться бы. Иной ни отрады, ни забавы нет...

(«Ночные бдения»)

23

*М*аяров считал, что он напрочь лишен фантазии. Оправдывал свой порок тем, что он не детский писатель, а взрослому человеку придумки нужны разве что для того, чтобы оправдывать свое существование

перед властями и супругой. Интересно, Маляров перестал читать фантастов, фэнтези, сказки, много книжек отставлял в сторону на двадцатой странице.

Претила ему и мемуарная патока, «документальная» ложь. Скрывал от людей такую свою слабость, не уважал себя за примитивный подход к литературе. Впрочем, неуважение к себе – коренная черта характера нашего писателя.

И вдруг он прочел у Р. М. Рильке: «Художник – это человек, который пишет с натуры». Окрылился и совсем перешел на правду. Разумеется, у него всегда есть своя точка зрения, твердые убеждения.

В обиходе старик был уступчив, даже безразличен ко многим чуждым ему мнениям, но в своей литературе – неколебим. Вроде бы легковесное, заурядное восприятие людей и их идей, самый простецкий, почти конспективный, пересказ виденного и слышанного, но за всем этим – голенькая, подноготная правда и нравственное начало.

Даже там, где он входит в шкуру «плохого дяди» и всячески оправдывает его поступок. Как хороший артист на подмостках. Одно старание у него: рассказать так, чтобы читатель прожил вместе с ним его вещь до конца. Может, потому и писал он коротко.

Особая природа его сбора материала. Старая апология: прожить и написать – укоренилась в писателе задолго до того, как он взялся за перо. И всю жизнь он входил в такие коллективы, якшался с такими типами, что порядочный человек не «сел бы с ними до ветру на одном гектаре».

Показателен здесь маленький (дорогого стоящий) роман «Худший из пороков».

При господстве коммунистов сын Малярова сумел сбежать за дальний рубеж (любопытно, что с женой и двумя крохотными детьми). Естественно, компетентные органы бурно зашевелились. Замучили визитами и предложениями нашего литератора (тогда еще и главного режиссера телевидения).

Когда стало понятно, что сына не вернуть, Малярова оставили в покое. И вдруг! Наш беспартийный и убежденный диссидент по собственной инициативе приходит в самый жуткий дом в городе и просит разрешения приходить еще и еще. Он задумал изучить оперативную работу этого жуткого аппарата насилия и влияние его на душу среднего обывателя. А они согласились якшаться с ним, принимая мужика как заурядного сексота (стукача), да еще довольно высокого интеллекта и положения.

Фрагмент упомянутой книги – отдельный рассказ, первое задание компетентных органов и жизнь души начинающего сексота Вилавы. Тут и достоверность повествования, и тонкое искусство выстраивать фабулу, характеры, нагнетать драматизм.

– Сегодня встреча, к моему сожалению, короткая. К девятнадцати ноль-ноль прошу вас быть у чеканщика Осовского. Там отмечается день рождения его или его жены, Галины Ильиничны. Не суть важно. Важно, что соберутся художники...

Следует прервать его инструктаж сразу; нет смысла запоминать задание, имена и прочее.

– Я мало знаком с этой семьей. Более того, не приглашен. Это супруга моя некогда работала с Галиной Ильиничной в детсадике. Кажется, забылось. Мы с Алексеем...

– Вот сейчас припомним, – посмеиваясь и больше заботясь о том, чтобы уложиться в отведенное для явки время, чем о состоянии души собеседника, продолжает Сергей Павлович. – Его зовут Алексей Дмитриевич. Вы с ним ездили на раков лет пять тому назад, в дни каникул. А жены могут через мужей передавать приветы и поздравления. В частности, ваша Лида через вас поздравляет именинника или именинницу... В общем, нас интересуют разговоры в среде художников... Особенно Пелехатый...

Обычное стремление поскорее сбросить с себя обузу приводит меня к Осовским задолго до застолья. Настолько задолго, что застаю Галину на кухне между ведерным котлом с кипящими голубцами и такой же громадной кастрюлей, куда женщина только начинает чистить картошку. Крупная, с фальшивой одышкой, больше для показухи и форса, чем по необходимости, Галина была когда-то мной прозвана гиппопотамшей.

Шутя-любя сказал я об этом Лиде, та искренне обиделась и отвернулась в постели. Разразился мини-скандал, закончившийся жарким примирением, даже двумя кряду. И этим больше всего запомнилась супруга Леша Осовского и ее одышка.

– Какими ветрами? – обыденно и безыскусно восклицает хозяйка.

– На запахи! – Я излишне задиристо раскидываю руки.

– Запахи пока что подвальные.

– А мы поможем превратить их в ресторанные.

– В вашем клане за домохозяйку правит мужик?

– Прежде всего, с днем ангела тебя!

Великолепным жестом, словно из ножен, достаю испанскую шариковую ручку – все мое состояние, за которое компенсацию не получу.

– Прибереги подарок. Именинник – тот прохвост.

Объяснять не стоит: так любовно величают в этом доме супруга, не правящего за домохозяина.

Подвязавшись запасным фартушком, пододвигаю низенький, прихваченный Галиной из детского садика стульчик, беру нож и картошку.

– Я на землю брошу шляпу, сяду на скамеечку. Положите мне на лапу хоть одну копеечку! – не слезая с молодого конька, запеваю и тем самым окончательно располагаю к себе полузабытую товарку жены.

- Святый Боже! Как ты отличаешься от Лешки!
- Об отсутствующих либо хорошо, либо ничего.
- Знаю, ты на его стороне. Все мужики одним миром мазаны.

Кастрюля без огня вскипает от падающих в нее с двух сторон картофелин, походя подбрасываются советы, как теперь, при вящей бедности, экономней принимать гостей.

- Лучший стол теперь – шведский.
- Это где это – шведский?

Галина отстраняется от дымящей сковородки на плите, далеким взглядом мерит явно непутевого гостя.

- Там, у них, – простецки указываю ножом за спину и вверх.

- Что же ты мне голову морочишь?!
- Догонять и обгонять надо.
- Не поспею. Притомилась в гонках по пустым магазинам. Ноги гудят, и дыхание сперло.
- Я – в идеале.
- Идеалами только и питаемся.

Гостей еще не видно, а одна особа уже подает материал; на целую страничку «источник сообщает». Только об этой диссидентке писать грешно, двое детей на шее, Лешка с придурью, кажется, время от времени он достает ее по щекам. На ней же и муторная работа в детском садике, и партийные обязанности – состоит секретарем ячейки, что ли, и вообще, весьма отзывчивая и участливая дама. Интересно, при всех достоинствах, ворует ли она из садиковой кухни?

- Часть пищи, небось, принесла в клюве из садика? – так прямо, по-дружески нагло вато спрашиваю.

Обнаженно-правдивая Галина Ильинична запросто отвечает:

- Кладет повариха в сумку, а я не забываю сумку на работе.
- И так каждый Божий?

- Это ты чересчур.
- Прости.

Продолжать расспросы не имеет смысла, органы не интересуются ворами или там несунами, так же как не интересуются аморалкой, паразитизмом службистов, пьянками на рабочем месте и прочее, и прочее. Черт знает, как тогда спасти Отечество!

Дверь толкают плечом, появляется ветвистый фикус, из-за него сипящий незнакомый басок:

- Галочка, прими от коллектива. Ты мечтала.
- Не я же именинница.
- А кто? Тот неугомонный? Вечно путаю. Однако прими.

Вошел круглый подстарок с короткой сединой на черепе, игриво, как принято среди богемы, сделал ножкой, подал мне ладонь:

- Дакеев. Можно просто: Ипполит Харитонович.
- Николай Андреевич.

Сказал и осекся: не лучше ли пребывать инкогнито? Хотя бы по имени-отчеству не знали. Двусмысленное положение, однако: то ли дружески распахивать себя, то ли держать ухо востро и исподтишка мотать на ус? При моей привычке заниматься несколькими делами разом я все же не приноровился ласкать человека и сосать из него кровь одновременно. Утешаю себя: со временем освоюсь.

Картошка уже кипит на настоящем огне, под бульканье в кастрюле и потрескивание на сковородке слышны толчки в приотворенную входную дверь: сталкиваясь, входят еще двое, мужчина и женщина, мохнатые, модные, до того омоложенные, что можно спутать пол.

- За что люблю Галину Ильиничну! - намекает с двери кавалер. - Она, болезная, еще на пороге вливает в гостя рюмашку и вручает бутерброд. Потом ожидать легче.

Не называя себя, пришелец пожимает пальцы моей правой, потом левой руки, хлопает по плечу, как старинного приятеля и сообщника:

– Здорово, корсар!

И опрокидывает стаканчик белой, приобнимает спутницу – супругу или не супругу, хлячет в большую комнату. У меня в кулаке початая рюмка, жестом пирата, раз уж обозван корсаром, выплескиваю ее в горло.

– Не Пелехатый ли? – опрометчиво справляюсь у хозяйки.

– Тот трибун на междусобойчики ходит без сопровождающих.

Мешают наполняться до вдохновения.

Хорошо бы узнать имя вошедшего, но не станешь ведь выдавливать у хозяйки.

К урочному часу гости валят косяками, в одежде подчеркнута бессистемный стиль, куртки из тонкой разноцветной ткани, джинсы на мужчинах и женщинах, прически до плеч: не знал бы, что художники, догадался бы: пальцы-то пропитаны краской с младенчества. Хватит ли на всех места и пищи? И стоило затевать праздник, чтобы понести непомерные расходы?

Богема, образ жизни. В подарок несут цветы и напитки в затейливых упаковках. Цветы увянут в два-три дня, спиртное вылакают в два-три часа. Впрочем, для меня сложности не в этом... Влетает выбритый, припорошенный пудрой, переполненный лучшими надеждами хозяин, близкие приятели бросаются таскать его за уши, дамы беспардонно чмокают, выпренно желают всего. Творится нечто похожее на наши, актерские, соборные возлияния. Протискиваюсь к виновнику.

– Леша, я случайно узнал... Вернее, Лида занята, велела мне непременно поздравить. Круглая все-таки дата!

Лобызаемся, трудно понять, сознает ли Осовский, кого хлопает по спине, с кем «челомкается», как он, издавна пишущий запорожцев да чумаков, любит выражаться. Среднего роста, накачанный и подвижный, он сверкает своими карими или серыми – при вздрагивающих бликах с потолка не разглядеть – и все норовит отвести в сторону то одного,

то другого из надежных казаков, шепнуть им что-то на ушко и хохотнуть для отвода глаз.

Такое поведение хозяина не может не интересовать меня по роду новых моих занятий. Неужто свеженькие, да еще политические, анекдотцы травят? После долгих ухищрений притерся к косяку туалетной двери и услышал совершенно иной Лешин тон, пониженный, рассчитанный на одного коллегу в велюровой куртке:

– Слушай, пейзажист, – говорит он застегивающему ширинку дружку. – Слушай, не нализывайся. Выскажешься, а тут нежданно-негаданно сексота подкинули...

Я немею. Пить-есть не хочется. Вертится в памяти допотопный еврейский анекдот. «Абраша, правда, что ты с Суркой-соседкой живешь?» «Боже мой! Один раз живнул – и об этом уже все говорят!» Но он не смешит, пронизывает жутью.

Теперь выслеживаю не я. Целуют, привечают, кормят, поят, а сторониться будут, словно прокаженного.

Больно, когда уличают. В подростках я как-то задумал купить томик Толстого. Мать собирала мятые рубли на починку стрехи, я украл, сунул под тряпку на пороге, утром мать намочила жалкие купюры вместе с ошметком мешка, узрела и принялась хлестать по плечам и по голове старшего сына, не принимая во внимание, что на пищу духовную приворовал: стреха сочилась.

В институте один остряк прибег к образу: «По арифметике Магницкого...» Я возьми и ляпни: «А-а, Магницкого – знаю!» И тут же поправился совсем глупо: «Не лично, разумеется...» Остряк с едкой иронией ахнул: «Разумеется». Почему-то такая насмешка ударила сильнее материнской тряпки, видимо, оттого, что невеждой труднее жить, чем вором.

Как и с кем теперь говорить? Какую шутку приспособить? С чем подкатить к Пелехатому, когда придет? От

всех заготовленных приемов не осталось и следа. Выбор надо сделать тут же: или улизнуть немедленно с вечеринки и успокоиться, или набраться смелости и отделаться насовсем от конторы Сергея Павловича.

Черт с ним, с повышением по службе, с прибавкой! Лидя ведь своему повышению зарплаты не порадовалась, во всяком случае, не стала чаще и искренней уступать. Антоше мирские радости до лампы, для него существуют знания и их источник – книги.

Бежать от Адама! Легко сказать. Погряз ведь, писал, подписывал обязательства, анализировал не однажды выгоды, ради которых пошел на ябеду. Да, но ведь разоблачили с первого шага, есть основания спрятаться в кусты или спуститься на дно. Как там у них?..

Но откуда узнал Осовский? Ни я, ни Адам не ставили его в известность. Стоп! Почему «ни Адам»? Может быть, в хитросплетениях пряжи тайных органов есть и такая форма овладения людьми – их компрометация? Но тогда – за что именно меня подвергать компромату? Листовок не расклеивал, на собрания, не только враждебные, но и обязательные, не ходил.

Неужели им нужен сломанный, доведенный до рабской покорности одиночка, изгой, чтобы потом забрасывать его в катавасию, и оглядки у него не было? А может быть, испытывают на стойкость? Я пью вторую, третью рюмку...

Сколько длятся размышления? Минуту, час? Теряю чувство времени. Моя прокисшая физиономия, должно быть, претит хозяину, он находит минутку, подмигивает через стол, мол, приятель, за мной! И уходит в ванную комнату. Изобретаю дюжину опровержений, оправданий, хотя твердо знаю, что убедительным не может служить ни одно. Приободряюсь, следую за накачанной спиной. Прижав всем телом дверь, Алексей трезво и доступно выговаривает:

– Докеева, что принес фикус, запомнил?

– Ну?

– Будь осмотрительным. Сука – сексот. Стукач, если не в курсе.

Странную реакцию прочитал бы на лице редкого гостя Осовский, если бы хотел вникнуть, если бы я не стоял в тени. Щеки вздрагивают, приподнимаются, взгляд проясняется, на языке трепещут нечленораздельные восторженные звуки. Самое неподходящее вырывается наружу:

– Пелехатый задерживается?

Разгоряченный Леша не замечает оплошности. Я вне подозрений.

– Я велел ему не приходить. Налижется, распустит язык, а его и без того на кончике карандаша держат. Гениев надо оберегать. Ты был на его последней выставке?

– Му-у, – и неопределенный жест.

– Надо ходить.

– Теперь буду ходить.

Знал бы товарищ, с какой целью я буду ходить! Не знает, стоит лицом к лампочке и играет чертиками в глазах, озорует:

– Я задержался потому, что возил бутылку Пелехатому на дом. Угомонил, кажется, приспал.

...Я вдруг раздражаюсь нутряным рыданием. Меня мутит. Я вырываю в раковину. Леша поддерживает под грудки:

– Да стоит ли нервничать из-за всякой твари. Да пошли они на хер!

(«Худший из пороков»)

*В*о времена Малярова зарплаты на периферийном телевидении были малые. Потому маэстро приходилось напрашиваться на разовые постановки в теат-

рах. На театрального режиссера он не учился (дипломы у него были – телережиссер и театровед), потому бросался очертя голову. К тому же Маляров не любил театр за социалистический реализм, котурны и фальшь.

А вот на малом экране он ставил глубокие, психологически достоверные спектакли, которые с удовольствием транслировали обе столицы, Москва и Киев. Набив руку на камерных вещах, он переходил на масштабные. Однако больше в драматургии.

Первая пьеса «Росс непобедимый» была поставлена в русском театре к двухсотлетию города корабелов. Был в ней патриотизм, но были и настоящие сцены из быта конца восемнадцатого века. Колорит верфи, пригон девиц с матушки России для женитьбы корабелов, аура чумы с пушечными выстрелами для отгона беды и литургией, были и дворцовые эпизоды царицы и Потемкина...

Лучшая пьеса Малярова утеряна. «Страсти по Иисусу» – это красивый и трагический акт последних земных дней Христа. Смелость написания и постановки ее была в том, что о свободе вероисповедания только говорили в стране большевиков, а ходу религии почти не давали. Успех превзошел ожидания.

Писал наш драматург и для телевидения, и для кукольного театра. Из дюжины его вещей в диалогах поставлена была большая часть: в русском театре, в украинском (водевиль «Криминальный массаж»), на столичном радио («Игра в прошлое»), даже в кукольном. Разумеется, и в драматургии материал был документальный. Восстанови подлинные фамилии – и вся подноготная правда налицо.

Это маэстро рассказывал о других. А я передам о нем то, что знаю только я. Скажем, Андреич слывет мужиком безоглядным – никогда не ходил в членах ни одной партии. По самым острым вопросам высказывался открыто и, как правило, несогласно с властью предрежащими, своим руководством. Отважный товарищ! А мне он признался, и на

моем диктофоне зафиксировано, что коллега Анатолий Андреевич с детства страдает комплексом Зоценко. Помните, отважный штабс-капитан и блестящий сатирик Михаил Михайлович до помрачения ума боялся (ни много ни мало) – жизни.

Вот и наш герой, смешливый, шумный и порой наглый, не задумывался о бесконечности вселенной, чтобы не сойти с ума. Не мог постичь бездны идиотизма окружающих чиновников и «пэрэсичных громадян».

У него не было компании, хотя всегда жил в тесном коллективе – театральный вуз, телевидение, театр, союз писателей. Он избегал тесной дружбы с отдельным человеком. Высокие требования мешали: или идеал, или ничего.

Когда он резко выступал на летучке против казенной идеологии в каждой телепрограмме... когда он на собрании яростно защищал своих предков чехов в год Пражской весны, на людях это был трибун и вояка. А потом ночь не спал, ожидал прихода компетентных органов. Та чаша его миновала: он всегда нужен был как специалист, да и относилось к нему начальство, как к слободскому дурачку: талантлив, но простак...

Больше всего мужик боялся мелочей и деталей. Как истинный писатель. Он видел, чувствовал именно в деталях главную суть явления. Не громкое выступление вождя и не поход чуждой армии на нашу страну его пугали, а смирение и душевная лень земляка, каждого в отдельности, маломощного и сирого.

К старости эти страхи сузились до семьи: больше всех, и, пожалуй, единственную, кого он боялся по-настоящему, – свою супругу, маленькую, чистоплотную и тихую женщину. Она делала мелкие бытовые замечания этому рослому мужчине, который с наполеоновской хваткой справлялся со своими чиновными и дородными персонажами... тут трусил. Помните, у Ремарка господин Залевски: ночью, боясь потревожить супругу, ставил ступню в горшок и пускал струю по ноге...

У Малярова был свой прием, как уберечь репутацию. Будучи докой в двух профессиях – в литературе и режиссуре, он там и там, случалось, запутывался в деталях. И если это было на сценической площадке, он вдруг оправдывался: я же писатель и только писатель, режиссер я, скорее, любитель, так что уж простите. Если же делал ляп в своих писаниях, то говорил редактору или читателю: моя профессия – режиссер, потому пишу шутя-любя. Хотя именно писал он с полной отдачей сил. Синдром енота, который спасается от хищника тем, что парализует себя.

А еще старик оправдывает свою лень и неопрятность в быту тем, что он стремится жить на уровне своего народа, который, как всем известно, ленив, запущен, беден...

И уж совсем не найдет оправдания перед общественной этикой тот факт, что все житейские факты, события, перипетии Маляров непременно укладывает в жанр. Для него жизнь – только материал для очередного сочинения. Ради красного словца он не жалеет и отца.

На двухтомнике его «Карьеры» редактор написал: «Если существует столь необязательный род литературы – фантастика, столь фантастический – сказка, то почему бы не посвятить себя весьма ответственному виду прозы – былям? Забавным, трогательным, нелицеприятным, уморительно смешным, трагическим? Рассказам продолжительностью в одну выкуренную сигарету и большим повествованиям на выходное чтение?»

Анатолий Маляров уже полсотни лет ходит по канату, натянутому над амфитеатром со знакомыми людьми – своими персонажами. Рискует. Нажил много неприятностей. Но и множество признательных душ. На чешском, в какой-то мере родном, языке Малярова слово «писатель» звучит так – «списуватель».

Вот он и списывает из окружающей жизни, повторяю, по Рильке: художник – это человек, который пишет с натуры. Прием не новый. Думаю, великий Лермонтов прозу

делал из своей среды. У Малярова такой способ творчества, то есть переливание хорошей журналистики в художественный образ, – близок к совершенству.

Доказательство просто: и в миниатюрах, и в больших вещах он принуждает нас верить в поведенное, сострадать или высмеивать людей и события вместе с ним. Старик исповедует Герцена: писатель не лекарь, писатель – боль. Он не живописует великие события и вип-людей. Это не интересно.

В заслугу себе мастер ставит поиски необычного в заурядном. Тем он и близок читателю и читается хорошо. Его природный заряд на шутку и ироничное видение мира очень часто выбирают из житейской колготки и выдают нам весьма легкий жанр.

Вот популярный на всей Украине рассказец о его ближайшем соседе, верном службе державы.

Звездный час приходит к каждому. Даже к сорока годам, даже к лейтенанту милиции. Посчастливилось бы ухватиться за него.

Лейтенант Чорба ухватился сразу за двоих преступников. Его отдирали, били по голове – клещ, рак, медуза... частицами отщипывали – держал. Даже нашей удали опергруппа, и та успела. Одна беда: глаз у Чорбы вытек. Весь. Управление встало на дыбы. Сгоряча лейтенанта эскортировали в столичную клинику, доложили самому министру. Трижды показывали по телевидению – с правого ракурса, где он зрячий. Вручили медаль, премию. Рана зажила от одного вселенского внимания...

Генерал принял у себя на даче.

– Я горжусь такими офицерами, как вы, господин Чорба, – молвил молодцеватый, голубоглазый, по-отечески настроенный руководитель. – С повязкой вы похожи не основателя града Николаева, фельдмаршала князя Потемкина. Однако

мы заказали для вас протез, теперь другое время, другое отношение к служащему. Специальной машиной, так сказать, чартером, поедете завтра в Одессу, к знаменитому специалисту.

Генерал потчевал чайком с малиной, листал личное дело героя, был щедр на слово. А Чорба смотрел и смотрел в голубые с поволокой глаза двухзвездного начальника и лелеял свою мысль...

Одесский специалист недавно реэмигрировал с исторической родины, потому еще искал логику на этом свете.

– Так-так, покажите ваш здоровенький. У-у, казацкий, черный как смоль! Исделаем второй черный как смоль.

– Нет, – со всем достоинством молвил лейтенант. – Мне не черный, мне – сделайте голубой, как у генерала.

– Шё?! Люблю свеженький юмор. У вашего генерала шё, один черный, а другой голубой?

– Нет. Оба голубые, но какие!..

– Вот это пациент! Вот это служака! Какая верность! Расскажу Цыле Самойловне, пускай учится у хохлов...

И долго топал профессор по кабинету, осмысливая личность пациента и приходя в себя. Наконец молвил:

– Вы подумайте до завтра. А я пока оформлю мерку.

Назавтра пациент остался непоколебим: протез только голубой!

Был взят еще тайм-аут. Доктор позвонил в наше Управление внутренних дел, захлебывался словами, выглядел дурачком:

– Я не спрашиваю, почему мой пациент до сорока лет ходит в лейтенантах. Я понимаю, что с таким народом нас победить невозможно. Но мой профессиональный долг, мое доброе имя не позволяют мне протезировать на голубом глазу!..

Как выглядел полковник на другом конце провода, реэмигрант не видел, но слышал такое:

– Генералу о таком докладывать неудобно, а жена лейтенанта Чорбы в его службу не вмешивается, она тоже из глубинки. Попробуйте сами...

Знаменитый лекарь не спал ночь. Утром умолял пациента:

– Поезжайте домой, подумайте, посоветуйтесь с близкими, взй змир!

Ответ взвешенный:

– Если я поеду, я к вам не вернусь. А заплачено вперед... – И не без намека надвигал фуражку на узкую полоску на глазу.

– А таки да! – воскликнул реэмигрант. – В профиль вы чистый Потемкин. У меня был один из ваших, инвалид на оба, так он гордился, что похож на Гомера.

Наш герой так и вернулся домой, отгулял удлиненный отпуск, прочел восторженные письма и телеграммы от коллег со всей неньки-риденькой, посмотрел ряд телевизионных выпусков о своем подвиге и – бегом в свое подразделение.

Майор что-то мымрил себе под мышку, смущаясь перед полковником; полковник знал отношение генерала к Чорбе и помалкивал, смиряясь с положением дел.

В Управлении, а потом и во всем городе пошел слухок, что на наших просторах появился необыкновенный офицер – выкапанный Потемкин. Творились легенды, анекдоты, даже частушки. Последние, разумеется, дураками.

Темным-темным вечером, – по недосугу по времени или сторонясь досужего глаза, – генерал снова принял у себя Чорбу. Сугубо чаевничали, говорили по-домашнему, на равных. Исподтишка выпили рюмашку-другую.

Вскоре Чорба получил третью звездочку, ему доверили подразделение и особо конфиденциальное разрешение связываться с руководителем в любое время дня и ночи, напрямую.

В городе гордились офицером по прозвищу – Светлейший.

Одесский специалист и реэмигрант снова эмигрировал на историческую родину. Там, правда, воюют, но хоть что-нибудь можно понять в людях...

(«Светлейший»)

А уж свои амурные похождения наш прохиндей расписывает и с горечью и с насмешкой. То от первого, то от третьего лица. И под каждым забавным приключением читается горестное наше существование.

...Когда интеллигент теряет работу, супруга постепенно отселяет его на диван. Природа требует своего, гордыня слабого не позволяет унижаться. И мало-помалу скромняга превращается в ловеласа. Я это проходил.

Руслан Слизко, культуртрегер и директор Дворца юных дарований, рад способствовать падению давнего одноклассника и стоика, то есть моему.

– Ты обретаешься в городе невест. Спустись на верфь, загляни в трюм, там такие художницы кисти и акта твою рят, слюночкой захлебнешься! Гривна за пучок.

– И что, пригласить домой, познакомить с супругой?

– Ты из тайги или прямо из тундры? Цивилизованная акция «на хате» тебе знакома?

– Опять же расходы...

– Клинок подобьешь – убежишь за ключом. Моя худшая половина на гастролях.

На дискотеке я потоптался с волоокой Улей: бюст больше лифа, талия осы, платформы пудовые, корабельных белил под ногтями не наблюдается. Напил соком, удачно сострил, мол, отплясал свое – слон в посудной и так далее. Через торможение и заикание намекнул: посидеть бы без грохота и посторонних. Она тут же выскользнула в скверик. В темноте шепнула:

– Старайся, а то видел, разметчик танцевал со мной? Говорит, так ко мне тянется – коленки дрожат.

Договорились на завтра. Дал адрес Руслана, назначил час.

День ушел на поиски денег, закупку коньяка, шампанского, закуски, выжимание ключа на вечер, с восьми до одиннадцати. Известно, порядочный муж должен ложиться в постель в восемь, чтобы к одиннадцати быть дома.

Обитель бывшего партактивиста, а ныне антикоммуниста, оказалась в хрущевке. Стол, диван, фикус... горячая вода в ванной! Первым делом я напустил из красного крана: испулся, как в цивилизованном кино показывают. Потом готовил бутерброды, перебивал задубелые рюмашки, тарелочки, искал салфетки и ножи-вилки. Все должно соответствовать уровню встречи.

Вертелся, а душа вела беспокойную жизнь: а вдруг соседи заметили вход постороннего и уже вызывают милицию? Или волоокая Уля ошибется адресом. Или, – уж совсем маниакальная мысль, – супруга выследила?! В закорки закрадывался озноб.

И тут звонок. И второй, как условились. Бросаюсь открывать и вспоминаю, что дома у нас принято тоже звонить дважды. Столбенею у глазка – бюст наружу, осиная талия. Приотворяю дверь – тяжелая платформа сразу внедряется в щель, не захлопнешь.

– Все дома одинаковы, все подъезды захезаны, все двери крашены ворованной корабельной охрой, еле отыскала, – с порога тараторит гостья.

Я мету, мол, учти, слышимость тоже везде пронзительная. Запираюсь на три поворота в двух замках. Нижний – ржавый, едва подался и звякнул.

Уля походкой тренера меряет прихожую, комнату, спальню, говорит, говорит:

– Я бывала здесь. Нет, кажись, не здесь. Видел фильм «С легким паром»? Там один ключ подходит ко всем замкам.

Я подталкиваю к делу, вышучивая ее слова:

– Кстати, о легком паре. Ванна готова, можно с нее начинать.

– Вчерась, кажись, мылась, в тазу, с мылом. Ну, ладно, если ты хочешь...

Входит в ванную, выкидывает за приоткрытую дверь свои бахилы, сверчит змейкой. Потом, слышно, открывает какое-то отверстие – вода шумит напористо и долго. Я бросаюсь в спальню, вспоминаю давно забытую с женой процедуру: двое в горячей посудине и – делай, что душе угодно.

Раздеваюсь у столика, коленка бьется о коленку, колотун, как у того разметчика, видать, – тянусь к Уле. С нарочитой дерзостью ступаю в ванну в костюме Адама. Там стоит Ева до акта познания и разводит руками:

– Слышь, спустила, чтоб налить горячей, а вода в кране прекратилась.

– Так я же только... подождем, может, пойдет.

– Э, нет, восемь часов вечера, в этот район подают до восьми.

– Я того, погрею в кастрюле, на газпечке.

– А газ тут круглосуточно подают?

Я стесняюсь вдруг, кутаю свои прелести в подвернувшееся полотенце, бегу на кухню. А гостья величаво следует за стол и тянется к бутылке.

– Ты хлопочи, а я запью это дело. Со мной такое не впервой, будь спок. Я вчера в тазу, с мылом... – и говорит, говорит, логорея у девушки, что ли!

Погремев утварью, вбегаю к столу и натыкаюсь на переполненную чарку коньяку, другая у губ Евы, которая деловито спрашивает:

– Ты как специалист – ничего?

– Справлялся, но вот сократили... А к чему вы?

– Да случаются такие асы, что не доносят.

– Вы про чарку?

– Я про то, что после...

Колотун во мне поднимается от коленок к пояснице и выше. Эдак и впрямь не донесешь и выпивку – расплескивается. Девица продолжает:

– Прораб наш – человек тонкий в обхождении, даже мат не проносит. Понравился. Оказалось, у него все до того тонкое, что ущипнуть не за что.

Я глотаю зелье залпом, чтобы взбодриться. Она с расстановкой выпивает, наполняет по новой. Принимаем, закусываем, сидим голые. Грудь у нее с картины, я начинаю расплываться. А она жует – говорит, ходит – говорит, обнимает – еще больше частит.

– Общага наша – наследство со времен войны, хошь в дверь, хошь в окно, так и ходим...

– Зарплата – медяки, выручает ваш брат – похотливые козлики.

Понимай так: за нежный труд предъявят счет. А весь мой кредит ушел на «тайную вечерю». Я деликатно освобождаюсь от объятий, пока процесс не пошел.

Нахожу тряпку, обнимаю кастрюлю с кипятком, несу в ванную, сознавая тщету стараний. Бог с ними, с тратами да с фактом выпивки, чего я постоянно избегаю, экономя гроши и здоровье. Бог со всеми терзаниями и стараниями – как бы повернуть к нулевому варианту: поужинали – и разошлись.

– В следующий раз этого клоповника не бери. Простую белую, а лучше французскую отборную – «самжене», чтоб ботвой пахла, – несется и несется от стола.

Надо полагать, следующего раза не избежать. Сажусь на борт ванной и впадаю в апатию. Говорят, апатия – это отношение к половому сношению после сношения. У меня – до...

Трезвонит телефон. Дергаю дверь не в ту сторону. Пока вырываюсь из санузла и прихожей, картина в комнате нарисовалась: с ножкой на стуле, с трубкой между матовой щечкой и точеным плечиком, с рюмкой в нафабранных пальчиках стоит гостья, нагло обнаженная до того, что кажется одетой и пугающе красивой. Стреляет в меня своими лучистыми и игриво вопрошает:

– Корсар, кликуха твоя как?

– Сенечкин...

Ломаным движением тычет в меня трубкой. А из микрофона знакомый голосок, но я едва узнаю Руслана.

– Корсар, значит? – эдаким кабинетным, свысока, тоном изгаляется приятель. – Знаешь, почему я все-таки при деле, а ты – свободный художник?

– Доступней не можешь выразаться?

– Потому что я знаю психологию обывателя. Например, твою. Ты, несомненно, закрылся на оба замка. Благородные страхи! А не ведаешь, что нижний, ржавенький и непослушный, можно открыть только снаружи. Гуд бай!

В трубке звякнуло, пошли короткие гудки. Гудело у меня в голове и когда я ковырялся в замке, и когда сидел на корточках среди комнаты в чем мать родила.

Рядом присела в таком же виде Уля. Спросила:

– Ты и тут ничегошеньки не можешь, Семечкин?

– Я – Сенечкин!

– Тем более. Давай выпьем, – вздохнула она поднимаясь. – И отпусти меня подобра-поздорову – с тобой не зачнешь.

Видимо, девушка пошутила, но у меня заныло и оборвалось сердце: оказывается, здесь мог быть и вариант зачатия! Это ко всем моим лишениям!

Я растоптан второй женщиной кряду, заточен в чужой квартире, впереди жесточайшая домашняя разборка. Колики в сердце не позволяют не только говорить – дышать.

Пошатываясь, ударяясь о стены, бреду к телефону, вызываю Слизко.

Час сидим с Улей по углам. Я натягиваю брюки, она пьет и напевает.

Не помню, как оказываюсь на лестничной клетке, впопыхах забыв проститься с непокрытой и хмельной дамой сердца, которая уже говорила и говорила в ухо Руслану Слизко, тоже забыв про меня.

Утром нахал от культуры, преуспевающий при всех рожимах и нравах, Руслан Слишко звонит мне прямо домой:

– С тебя причитается. По твоей милости я всю ночь трудился, еще и кошелек выпотрошен...

За спиной топает моя супруга, потому я, этак балагурия и смягчая его тон, заверяю:

– Разумеется, разумеется, чем обязан, тем обязан. Долг платежом красен!..

(«На хате»)

Эта зарисовка с натуры требует комментариев. И не потому, что под амурной шуткой просматриваются наш быт со всеми изъянами и наши страхи, коими полна душа автора. Даже не потому, что рассказец свидетельствует о нравственной слабости нашего героя. Тут есть объяснение.

Этот маломощный физически и несдержанный в деяниях мужичок имел ярко выраженную потребность в женщине. А супруга его, интеллигентная и старинных нравов женщина, с сорока лет сама воздерживалась и яростно проповедовала воздержание во всем, включая духовную и физическую пищу, духовные и физические потребности.

Интеллекта Андреича хватало на все, кроме скандалов. Вот он и велся на предложения знакомых, тем более что женщины видели в нем человека с верхней полки и не отказывали. Но мысль моя даже не в этом.

Я об одиночестве Малярова. Смолоду, со студенческой скамьи он был настолько поглощен попыткой выйти в люди, то есть учиться, читать, путешествовать, записывать... что жажду женщины мог гасить только между делом и не более часа. Дальше она ему не была нужна. Грешно и цинично? Нет.

Он не обижал супругу. Вся власть, все имущество принадлежали ей. Получит мужик квартиру – записывает на нее, зарплату вообще она получала. От лишней сорочки и

новых брюк он отказывался до предела возможностей. Не нужно, лишне все это было и есть для него. Он повторял Сократа, который, пройдясь по выставке, изобилующей богатствами быта, сказал: «Сколько в мире вещей, которые мне не нужны».

Поразительно, что одиночество не угнетало Малярова. Это было состояние, когда он мог отбирать из виденного и слышанного, вынашивать и рожать, а потом пускать в люди свои опусы. Забавно, но ни один из его доброжелателей в театре, на телевидении, в журналах и библиотеках не догадывался, насколько одинок и печален в душе этот болтливый, затейливый и всегда знающий, с кем и о ком-о-чем близком, приятном собеседнику поговорить.

Впрочем, Андреич всегда помнил, на чем расстались в прошлый раз, кто и чем мучает или радуется приятеля, встреченного даже после годичной разлуки. И старый плут умело говорил не о себе, а о нем. В редакционные, вузовские и творческие кабинеты он часто, почти всегда, принес с собой новую городскую сплетню или короткий рассказец – незаметно отвлекал знакомого от его житейских передряг.

– Был в деревне, на могилках. Хоронили старого Семёна. Все девяносто лет деда не бывал дальше тока и заводи. За тележкой с его гробиком пришло полдюжины приклоннышек, уже пьяненьких. Один, самый поддатый, встал над открытым ящичком, произнес речь: «Кого мы хороним? Мы хороним основателя советской власти, лучшего друга Дзержинского и Фрунзе. Спи спокойно, дорогой товарищ, мы тебя не подведем!» Взял правую ладошку покойника, от души потряс и положил на другую ладонь, где взял.

– Вчера я с гастролей. В гостинице спал в номере на двоих с известным тебе заслуженным артистом Качевичем. Старик милый, но страдает энурезом. Уговорил меня поселиться с ним. Я согласился только при условии, что он не беспокоит меня частыми выходами в туалет. В первую же

ночь я спал сном праведника. А старик выходил, да так тихо, что я не пошевелился. Так Качевич пришел в восторг от своей ловкости, растолкал меня, что сделать нелегко, и с восторгом воскликнул: «Ну, как я вышел? Я даже тебя не разбудил!»

– Ты в городской газете печатаешься? Помнишь метранпажа Заброду. Одинокый старик. Вышел на пенсию, захирел. Будучи по натуре философом и фаталистом, решил оригинально уйти из жизни. Пошел в клинику и попросил главврача устроить ему эфтаназию. Рядом стояла старшая сестра. Она повела старика к себе в кабинет, рассказала, что она тоже одинока и склонна к философии. Тоже фаталистка. Так знаешь, уговорила Заброду жить... С нею... Перешел к ней, уже полгода тому. Теперь на работу вышел, семья, кризис, кормить надо старушку.

– А в областной газете упадок, не скандалят политики, не приносят мзду за публикацию свинцовой своей мерзости, вот и разгоняют сотрудников...

– А театр живет сдачей в аренду помещения. Гениальный директор едва кормит своих комедиантов...

– А в Союзе писателей есть специальный диван для кастинга...

И еще три, пожалуй, четыре или пять дюжин устных сплетен, совершенно документальных, собрано на моем диктофоне. Многие весьма интимного свойства. И как этот Андреич выуживает их!..

Среди подлинных, самой житухой созданных затей есть много литературно обработанных нашим смехачом и печальником и обошедших Таллинн, Варшаву, Канев и другие города, где издаются веселые журналы.

Вот короткий пример.

Женщины – затейницы в любом возрасте. Бума Барсовна – в восемьдесят. Просыпается – она просыпается по пять, по семь раз за ночь, столько же и днем, – перебирается с кро-

вати в кресло на колесах и путешествует по всем четырем комнатам, посещает кухню. Могла бы ходить пешком, ноги еще носят, но зачем же тогда это никелированное средство передвижения, подарок маленького сына, Ньюмы? Включает свет на всех потолках, весело и экономить не надо: средний, Барсик, оплачивает заранее. Озирает добро: библиотеку, аппаратуру – это все старшенького, Йоси.

Снимает телефонную трубку:

– Але! Это кто это? А-а, ты, моя довоенная подруга! А я сама... а где теперь сыночки? А кто где. Ньюма уф абсорции, под Хайфой, у него усьо ф порядке. Йося уф Верховний Ради, вин же тепер щирый украинець. А средненький, Барсик, аж в Вашингтоне, округ Колумбия. Шьет башмаки на Обаму. У них своих сапожников мало. Они берут у нас или мозги, или мозоли.

Так у моих деток мозгов нету. Были б мозги хоть у одного, то они все сидели бы у Верховной Ради. А нет – то в Киеве один Йосик... А шо я? Я стережу его квартиру тут. Вдруг да придется кому-то на круги своя, не приведи боже... Скучаю? Иногда. Так Йося посоветовал развлечение. Дал объявление в газетку, мол, исдается квартира в центре. Приходят каждый божий... Пагавару, паважу вокруг пальчика, а когда до дела доходит или меня сон сморит, распрощаюсь. Завтра другие приходят, а шо? Есть на шо пасматреть. Так день до вечера.

...Под праздник – звонок в дверь. Бума Барсовна спешно села в кресло, приобрела покинутый вид: вдруг власти с проверкой, так она жива, страдает при недвижимости, и кранты.

В створки двери протиснулся битый бидончик, потом трепаный рукав, наконец человек в дубленке с его-таки плеча, только сорокалетней давности. Даже брюшко имеется, только не наружу, а внутрь впячено. Лицо активиста времен великого перелома и первых пятилеток. Постоял, с трудом вспомнил, с чего начинают.

– С комприветом. Я не ошибся? – вступил этак бодренько.

– Ошиблись, – кокетливо и как-то неожиданно для себя отозвалась хозяйка. – Молочный магазин за углом.

Гость с удивлением нашел у себя в руке бидончик:

– Молоко – то так, щоб даром не ходить. Я по объявлению.

Такая милая одышка, такое величавое безразличие ко всему живому не миновали Буму Барсовну: человек с раннего времени!

– Объявление сами... или вам кто-то прочел?

И находчивый такой мужчина отпарировал сразу:

– Встречают по одежке, провожают по уму. Может, я духовно богат?

– И шо ж вам подсказывает ваш богатый дух?

– Славненькая хатка, увесь отдыхаешь.

– То, может, вам ее завернуть и спустить на первый этаж?

– Зачем так сразу? Познакомимся для начала. Я – Кирилл Моисеевич. Можно коротко – Кир. Человек из «Красной книги», как и вы. Легче найти взаимопонимание.

Буму Барсовну начало подменять, она прониклась давним чувством, как если бы ее сватали.

– И на каких бы то условиях? – игриво спросила она.

– Вы одиноки, и я одинок... – милая одышка усилилась, стала еще милей. – Организм имею сбалансированный. На ваш этаж поднялся и не переставал под дверь, позвонил сразу.

– Вижу, вижу.

Видела она линялую шапку и вывертку прошлого века. Однако сладкий угар окутал ее всю, цветные стекла легли на глаза. Кир Моисеевич выросал в объемах, терял морщины вокруг запалого рта, речь его становилась риторской. Вспомнилась Буме вторая молодость, потом первая. Свой голос услышала как бы со стороны:

– Кофе не уважаете?

– Ни кофе, ни спиртного.

– Я тоже. Завариваю шалфей, ромашку и корень...

– То-то я думаю, где я вас видел!

– У травника, на рынке.

– Как много общего у нас!

Сладкая майя плыла и уносила хозяйку. Ньюма казался так далеко, что не влиял на события, Барсик и Йося уходили на второй план. Наступал сонный циклон. Последним взглядом Бума Барсовна заметила, что гость уютно сполз на стуле, опустил веки. Ты смотри, и дрема приходит к ним одновременно. И длится. И дружно так отдыхают. Час. Приходит бодрость, а с нею и прямой вопрос хозяйки:

– То шо вы намекали, Кир Моисеевич?

– Говорю, славненько придумали эти объявления. Люди находят друг друга. Для общения...

– Говорите, говорите...

Гость грузно поднялся, нащупал свой бидончик.

– Вы уходите? Вы зачем-то приходили?

– Приходил. Теперь ухожу.

Кир Моисеевич потопал ошибочно к двери спальни, потом, сообразив, вернулся к входной. Из-за заминки почел нужным объяснить:

– Вы, Бума Барсовна, не гневайтесь. Это я так... читаю объявления, выбираю подходящий адресок, чтобы поближе и попутно, захожу, говорю всякое, присутствую... пока устану. А потом иду за молоком и – домой. Все день до вечера... Будьте мне здоровы!..

(«Забавы для престарелых»)

25

Одиночество въелось в душу Анатолия Андреевича не от мелких неудач и обманов со стороны ближних и дальних лиц. Ему даже везло в жизни. В эвакуацию, под бомбежками, он не боялся смерти. Девятилетний пацан просто не представлял, что он может умереть.

В школе ему напрягаться не приходилось, ведь он пешком прошел от среднего течения Буга до Дербента, а там служил подпаском два с лишним года. Насмотрелся, слышался столько, что иной взрослый позавидует. Во второй класс пошел в одиннадцать лет.

Из глухого села поступил в столичный театральный институт. И не только потому, что в его селе был гениальный самоучка-режиссер и натаскивал подростка всеми премудростями театра, но и потому, что в год его поступления был открыт новый факультет, о котором не знали абитуриенты, и таковых было мало.

К окончанию Маляровым вуза по стране росли телевизионные башни, и «специалистов» хватало с руками и ногами, даже квартиры давали. А наш Анатолий к тому же нацарапал телевизионную пьесу, которую сразу приняли на киевской телестудии...

О, нет, одичал мужик от идеологии. Вот история его страхов. Я собрал этот рассказ из архивов писателя.

Прежде я все раздумывал о людях. Теперь – об эмоциях. О родословной, пожалуй, самого сильного чувства. Святое писание назвало его худшим из пороков – о страхе.

В девяностый год позапрошлого столетия Вато Корн, сын разорившегося моравского дворянина, немец по отцу, сразу по окончании академии в Вене был нанят управляющим в Украину. Барон Гуц, хозяин трех овцеводческих экономий, со своими слабостями к женщинам и цветочным клумбам, прожил в Берлине.

Вато получил его степи, кошары, более ста тысяч овец, полсотни собак, чабанов с семьями, двор, верховых и упряжных лошадей с дрожками, арбами, бестарками, право распоряжаться доходами по своему усмотрению. Условия только два: немедленно жениться и каждый год присылать барону в Берлин достаточную сумму денег для его европейской барской жизни.

Вато повезло: у рукотворного пруда, на Охмановом хуторе, он в первый же день приезда увидел дочь сотского Кинтеляна (наполовину чеха), чопорную крестьянку шестнадцати лет, певучую красавицу. А еще – сразу полюбил холмистые степи с редкими перелесками, домики из камня, ухоженные огороды, фруктовые сады, водоемы, отары на склонах. Все это походило на окраину милой Чехии. Сильно ожило в молодом человеке чувство хозяина, которое он перенес на чужие владения.

С хутором сразу сложились ровные отношения. Чабанов паныч поразил дотошным знанием природы овцы и хозяйским оком. Крестьянки оценили щедрость барина. Каждому пастуху и подпаску в его отарах позволялось держать по десятку собственных овцематок, приплод считался повально по два ягненка от овцы, неважно, погулявшей или яловой. С сада и огорода на пана не взималась даже десятина. Работнику поворотливому Вато платил десять рублей в месяц, ленивцу – пять (цена стельной коровки).

Это из Охманова хутора пошла в мир такая незатейливая притча. Лодырь Иван спрашивает:

– Панэ, а чего то вы Кузьме платите десять рублив, а мени пять?

– А вон видишь, на окоеме ползет валка? Пойди, узнай, что это за люди.

Иван во всю прыть добежал до горизонта; запыхавшись, вернулся:

– Чумаки, панэ!

Хозяин позвал из конюшни Кузьму:

– А сбегай, добродей, узнай, что оно за люди уходят за небокрай.

Кузьма валиком вывел из стойла жеребца:

– Я, панэ, попутно погрею племенного...

Через нескорое время вернулся Кузьма, доложил:

– Чумаки, панэ. С Хоружного, что на Полтавщине, в Кафу, за силью. В Крыму по рублю мешок соли, а в Полтави – по

тры. К последней фуре привязана кобылица-двухлетка. Можно перекупить за два червонци. А еще можно сбыть два колеса, там кабутают задние на втором и шестом вози...

– Хватит, – сказал хозяин. – Ты понял, Иван?

...Двадцать восемь лет правил хуторами Вато Корн. Отцом и наставником стал для чабанов. Народил восемь сыночков и двух дочек. Один, царство ему небесное, во младенчестве умер.

Тут пришел переворот. Хутора различили его только полгода спустя. Пришла вольница в рябчиках; братишки взорвали плотину, спустили пруд, руками собрали карасей, плотву и щук, жгли костры на пустом берегу, пьянствовали неделю, пели разбойничьи песни.

Затем пришли шапки-бырки, требовали говорить только «по-нашому», вырезали свиней, неделю пили и пели казачьи песни. Был еще разъезд из старых офицеров, только обношенных; эти вели себя прилично, однако строго велели экипировать и обеспечить их бараньим продовольствием...

Каждых предшествующих вояк последующие выбивали дальними пушечными выстрелами и конной атакой. Грабили все одинаково. Оказалось, что и в мирных соседних селах обитают одни воры – по ночам пробирали стреху в кошарах, овец растаскивали пуце волков.

Наконец, установилась «законная, советская» власть. Забирать с хутора было нечего, увели управляющего Вато Корна. Чабаны пошли в ревком – отпросили доброго хозяина. Два дня спустя, уже ночью, его забрали снова. Чтобы не повадно было, прихватили двух старших сыновей. Вато еще раз удалось вырвать из подвала в волостном центре. А сыновей, Йозефа и Ваню, не нашли, по слухам, их приспособили к пролетариям.

Кто-то, на небе или в преисподней, любит троицу: с третьим приходом рабочих бойцов пана Корна уводить не стали. Застрелили в огороде. Жене его, Кинтельяновне, ве-

лели закопать кормильца, а людям говорить, что он умер от скоротечной кишечной чахотки. Так будет соблюден порядок.

Так в хуторах появился он, страх, чувство из последних, это оно названо в Библии худшим из пороков. Двух старших сыновей райком приручил к своим разбоям. Ваня вообще пошел в коммунисты, только фамилию поменял: немецкую Корн на чешскую Корек – чехи воевали вместе с советами. Ваня тихо передал младшим братьям: переходите все на мою новую фамилию, я помогу.

Николай вообще пошел далеко: сел на лучшее, чудом не реквизируемого отцовского скакуна, подобрал на покинутом поле боя винтовку и саблю и вступил в проходившую долиной банду, кажется, юной красавицы Маруси. На хуторе остался старший, глухой Сашко, и мал мала меньше: хлопец, две девочки и еще два хлопца. Каждая входящая банда ставила Катерину Кинтельяновну к стенке и рычала свое:

– Где твой белый бандит Коля?

– Где твой красный бандит Ваня?

Всякий раз спасал от расстрела душевный плач малышей. От голода уже не спасал никто. От страха – ничто.

После гражданской войны братья еще раз поменяли фамилию, уже, как им казалось, на русскую – Корен. По затмению разума, из страха не сообразили, что она, скорее, английская, зато кончается на «ен». Разбежались подальше друг от друга, как обосновал сей акт Иван: выбьют, так хоть не всех.

Юная Мария пришла пешком в выстроенную американцами и набитую «форзонами» и «катарпиллерами» МТС им. Шевченко, первую в стране машинно-тракторную станцию. Ее сразу заметил прицепщик Андрей, бежавший от зажиточного отца, который тоже бросил свое крепкое хозяйство и скрылся в шахтах Юзовки.

Кровожадный Молох явился мне, рассказчику, генетически, еще в чреве матери. У тех властей была какая-то живо-

дерская политика: отправлять солдат служить далеко к чужим народам, а к нам приводить части чернявых и узкоглазых, мол, в случае бунта тем легче по команде партии убивать инородцев. Отец мой с той же миссией служил в Баку. Я уродился в Украине, в апреле тридцать третьего, когда от голода умирало по двадцать шесть тысяч крестьян в сутки – статистика...

В первый же день меня нащупал сталинский указ: метрическую запись непременно делать самое позднее – на другой день по рождению. Отощавшая одинокая мать смогла доползти до сельсовета лишь на третий день. Потому меня вместо двадцать первого записали двадцать вторым апреля и велели гордиться – рожден в один день с Лениным!

Чтобы я выжил, мать кормила меня грудью до трех лет. Стоя у завалинки, я сам достаю из-за пазухи матери и сосу синюю, одна кожица, грудь. Проходят мешочники, квело спрашивают через палисадник:

– Жинко добра, а скільки верст до станції?

Мама не в силах подать голос. Я отрываюсь от груди:

– Семь верст!

Детское ухо много слышало ужасов о вытащенных с постели и насовсем забранных мужчинах, а то и семьях целиком. Глаза видели пустую хибару аптекаря и только записанные трусики девочки на пороге... А в семь лет я пережил подлинное потрясение.

Дети играли в пограничников. Я ушел с поста. Тринадцатилетний заводила Исаак догнал меня у калитки и взял за ворот:

– Знаешь, что тебе будет за измену родине? Ночью тебя заберут.

Я плохо спал, даже перешел из своего «ослона», деревянной скамьи, – в чуланчик, потом залез под печь, чтобы меня не нашли власти. А утром услышал шепот бабушки:

– Ночью забрали агронома.

От страха я побежал за дом, в туалет. За углом стоял Исаак, задержал меня за оба плеча и хмыкнул:

– Шибздик, ты на свободе? Ах, понятно. Таких вшивых не берут. Не за что раскаленными клещами ухватить, некого за ногу подвесить. Ночью заберут твоего отца.

Я потерял рассудок: несправедливо, но никому не пожалуешься, пострадают и мама и бабушка. Я молча, затравленно ходил за отцом на работу, на обед. Скрытно плакал... Такие игры были у мальчишек моего поколения.

Странно, но я не испугался войны. С матерью, бабушкой, сестренками я брел с обозом в эвакуацию. Гнали рогатый скот и малый табун лошадей в глубь страны. На переправах тонули буренки – я плакал из сострадания; не давали поесть – я понимал, что все голодают; бомбили – прятался.

При этом я твердо знал: ничего странного не происходит: враги на то и враги, чтобы нас убивать, – они не свои. И нес в душе адскую уверенность, что я не могу от их рук умереть, я вечный, если меня убьют, кто же запомнит все, что со мной происходит? Я трепетал от интенсивной внутренней жизни, от теплого, непостижимого счастья. Наверное, потому, что меня никто не унижал. По другую сторону Кавказа я с десяти лет служил подпаском при стаде баранов и снова же не задумывался, справедливо это или из ряда вон: лезгины меня признавали равным, делились куском лаваша и не угрожали моим родным.

Но уже дома в тринадцать моих лет я пережил, скажем так, родовой страх, непосильное надругательство...

Мирный сорок шестой год принес в Мариновку голод не только потому, что не было дождей. Запасы прошлого урожая могли облегчить долюшку обобранного немцами, румынами и советами села. Могли бы, но...

Мне запомнилась огромная колонна военных ядовитозеленых «студебеккеров», которая месила грунтовые дороги, вытесняла наши битые полуторки и конные упряжки. С

утра до ночи взводы трехосных, с высокими решетчатыми бортами грузовиков уходили в бригады и ближайšie хутора, выметали из амбаров и овинов все, что припасли хлебоборобы про черный день.

На трудовдень не дали и ста граммов зерна. Агитаторы объясняли:

– Страна восстанавливается после оккупации. Городу нужен хлеб.

– А нам? – стонал иной мужичок.

– Аполитичные разговоры! – обрывал крестьянские пени человек с зеленым околышем на фуражке. Хорошо, что не забирал стразу.

Мне, тринадцатилетнему недокормышу, водители «студебеккеров», все эти парни в зеленых бушлатах: Додо, Гасаны, больше – Ануфрии да Гурии... почему-то не наши, хохлы, но азеры, армяши, сибиряки и еще Бог знает откуда пришьлые, из тех, кому не жаль было нас в тридцать третьем году, не жаль и теперь... но мне они нравились.

Глупой осенью, при первых морозах сажали меня в теплую кабину, давали пожевать горбушку от пайки и попить горячего из баклажки. Однажды завезли в отдаленное село, и пока грузились зерном и делали рейс на далекую железнодорожную станцию, я впервые играл в лото в хате у говорливой вдовушки с красивой и смышленной девчуркой. Домой вернулся ночью, за что получил от мамы по шеям. Всегда так: после радостей – неприятности...

В снежную ночь под окнами нашей приземистой хаты под ржавой жестью нежданно прогудел и заглох грузовик. В дверь постучались, в ту же секунду в светелке и каморке зажгли лампы из сплюсненных гильз и поднялся цыганский вой, похожий на кладбищенские причитания. Так радовались мои дедушка и бабушка, мама и младшая сестренка. Потом и я. Из госпиталя вернулся отец. Рано поседевший, но круглолицый и высокий, на шинели золотые погоны капитана, не-

давнего командира танкового батальона. О нем мы получили похоронку, мол, героем сгорел в танке, уже в Германии.

Оказалось, он всего лишь потерял ногу по самую ягодицу, перенес три операции и полгода валялся в госпитале, в каком-то Оренбурге. Теперь на нем протез, в руке палочка, за спиной тощий рюкзак. Оккупантом отец не успел побывать, не наградил добра, как все, кто вернулся в Мариновку живым. Его обнимали, забирали и рассматривали трость, стаскивали шинель.

Сестренка щупала протез под галифе. Мама прилипла к отцу, как молодая, дед крестился на образа, бабушка сыпала в кастрюлю горох:

– Покормлю с дороги... Только варится долго...

– Я сыт, я могу и так... – великодушно отнекивался бра-
вый капитан.

Две недели спустя, уже в лютую зиму,стряслось диво
дивное!

К моему дедушке, доброму христианину, подошел серый солдатик и две молодые женщины, тоже в военной форме, и сказали:

– Мы тут на вывозке, Новый год встретить негде. Уступи, дед, до часу ночи свою пристройку.... Мы с нашим замполитом, всего шестеро, хорошо посидим часок-другой и тихо, мирно разойдемся. Керосину дадим....

В угаре, в пиетете перед победителями, в канун большого, хоть и голодного, праздника, по случаю возвращения сына, ну впрямь с того света... а еще от привычки в течение трех лет ни в чем не отказывать румынам, дедушка кивнул. Я ликовал: «наши», при погонах и оружии, будут рядом со мной.

Отец с мамой и не знали о гостях. Еще засветло они забились в дальнюю спальню и говорили-говорили, смеялись не по делу и дружно, наверстывая упущенное за четыре года войны. Дед с бабкой помолвились и закрылись в своей каморке.

Сестренка уснула под взбитым лоскутным одеялом на лежанке, а я придвинул свою спальную лавку к фанерной двери в пристройку, чтобы хоть нанюхаться американской тушенки, нашей селедки, маринованных грибов, да хотя бы казенного хлеба. Получилось здорово. А еще я наслушался голосов и воинов и их подруг в гимнастерках.

– Ну, проводим старый год! – поначалу вполголоса гудел замполит. – После путей-дорожек фронтовых имеем право расслабиться.

Слышен тупой стук глиняных чашек и жестяный звон кружек. Кряканье, немая и смачная жвачка.

– За боевых сестер! – веселее и громче командовал старшой, у которого, я заметил, на погонах три звездочки – старлей!

После третьей чарки за тонкой фанерой философствовало:

– Да брось ты, Христосик! В городе нужен хлеб, там – рабочий класс! А тут... какой прок от... хотя бы взять... от хозяев этой хибарки? Дед да баба, двое внуков, говорят, еще калека нахлебник и его болезная жена.... Какой прок от них Родине?

Наверное, я за день убегался и промерз, оттого даже под аппетитные возлияния и смачную жвачку мой пустой желудок только чуть-чуть трогали спазмы. Я гордился близостью «наших» и блаженно дремал. Видимо, на время совсем уснул. К полуночи вскинулся всем телом, прислушался.

Простуженный тенор запевал:

Ревела буря, дождь шумел,

Во мраке молнии сверкали...

И раскатами, канонадой ударили из пристройки, не шесть, а сотня голосов:

И беспрерывно гром гремел,

И ветры в дебрях бушевали!..

Потом развязные голоса заплетались и нарастали:

– А ты чё щупаешь мою?..

– А которая твоя?

– Ты чё, с печки упал да не опомнился?

– У фрицев мы еще не того... От перемены слагаемых никто не страдал!..

– Врешь, ты – тыловая крыса. Ты не проливал кровь за Родину, салага!

– Да, я мобилизован после освобождения... За три месяца можно три раза умереть...

– Особенно в заградотряде! – И едкий смех.

Упал табурет, задвигались наши самодельные столики – компания веселилась.

Муштру и дисциплину смыл самогон. Показывались рожки козлов и погонщиков. Голоса перекрикивали друг друга – разбудили дедушку. Придерживая подштанники, старый тихо проплыл мимо меня, а в пристройке заговорил так, чтобы его услышали:

– Уже за полночь, дети спят...

– А ты кто будешь такой? – пьяно прогнусавила одна из женщин.

– И то! – поддержал ее сержант.

Дедушка когда-то тоже был солдатом, но это при царе, потому теперешних победителей не понимал. Рыкнул:

– А то, что выставлю вас из моего дома!

– Что-что? – задвигал табуретами замполит. – Ты – подрумынник, ты будешь мне, орденоносцу, указывать? Анну ври больше! Где твои дети спят?..

Как случилось, не понять, но гости клубом вкатились в нашу светелку. При этом молодой сержантик тащил дедушку за бороду, а старлей немецким фонариком шнырял по углам, сразу зажег гильзу – свет ударял мне в глаза и принудил ворочаться на лежанке сестричку.

– Это твои дети, старик? Поздние, поздние у тебя дети.

– Это внуки... Дети там... – Дедушка смотрел через локоть солдата, как через плетень, указывал на дверь в каморку.

– Ан-ну, зови детей твоих сюда!

Победители впали в кураж, надо было излить задор победителей, привычно поглумиться над слабыми, похожими на оккупированных иноверцев, селянами. Толкнули деда в каморку. Туда, как в горящий дот, шагнул рядовой. За ним пошел сержантик. Страшно мне стало: этот, с лычками, размашисто выхватил пистолет из кобуры на своей заднице. Что там мама и отец?

Вернувшийся первым дедушка бросился ко мне, успокаивал:

– Папа наденет погоны, он старше по званию, он их выставит.

Я сжал колени:

– Хочу писи...

– Пусть идет во двор, – сказала полная женщина, на которой плохо сходилась гимнастерка, а зад отдувался на аршин.

– Нет! – рявкнул замполит. – Он побежит в сельсовет, в штаб... Принеси сюда, дед, во что поссать пацану!

Из каморки вытолкали отца. Он прыгал на одной ноге, как мальчишка, играя в классики. На нем была расхристанная исподняя рубашка и мятые кальсоны, одна штанина завязана узлом под самой ягодицей. Видно, надеть форму с погонами он не успел, хуже – ему не дали. Замполит принес табурет, царем Соломоном уселся посредине светелки и кивнул пожилому из рядовых:

– Усади обоих на лежанку.

Отец и мать виновато потеснили сестричку к стенке.

– Фамилия?

Мама торопливо назвала фамилию, имена, от волнения у нее прорезался ее природный чешский акцент.

– А ты, добродейка, не из наших!

– Да Бог с вами!..

– Отчество твое?

– Ватовна... Э-э-э, Вячеславовна.

– Из бандеровок, что ли? – Незванный гость превратился в завоевателя.

– Вам не стыдно, лейтенант? – резко сказал отец.

– Не лейтенант, а старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант. Повторить!

Отец не повторил, но весь съежился, как-то скомкался.

Мама заплакала:

– Он инвалид... только пришел...

Замполит хохотнул:

– Интересно знать, откуда он пришел? Где там ногу потерял? С какой стороны фронта? Документы?

Политрук и два его профоса корчили из себя суд-тройку. Я уже был наслышан о подобных пилатах и весь дрожал. Тройка долго изгалялась над слабыми, много и крикливо говорила о нашем правом деле, о том, что война продолжается и враг будет разбит на его территории. Фальшивое, но от того еще более жуткое, иезуитское наслаждение источала физиономия старлея.

Я словно на просвет увидел застывшую картину. Сидит на рядне полуголый мужичок с левой штаниной узлом, во всем его облике, спросонья ли, от внезапности ли, – протрация и полное непонимание происходящего. Рядом глухо рыдает его тощая и растрепанная супруга; отец мужичка, на коленях вымоливший у Бога возвращения сына с войны, прилип к стене и вперился в икону, старуха его держится за сердце.

Справа, в ящике изъеденного шашелем комода, лежат высокие ордена мужичка: Ленина, Отечественной войны, Красной звезды, вязанка медалей за взятые им пять городов, благодарности от имени вождя, свидетельства, что он пять раз горел в танке, что он инвалид Великой войны... Но это все, за пределами тонких, небеленых стен хаты, никому не известно, никому не интересно. Он беззащитен, слаб, лицо

его потеряно, растоптано... Куда податься?! Даже Господь с красного угла не помогает. На него зло зыркнул замполит и хохотнул:

– Боженькой обзавелись при румынах? Снять!

Никто не бросился снимать икону, только мне показалось, что и лик Христа помрачнел и смутился. Хотелось выть и бежать «свет за очи», как говаривала бабушка.

В канун того Нового года «горем покатила», как говаривала бабушка, моя мама. Растрепанная, полуголая родительница, как крохотная воробиха на защиту своего птенца, вдруг вскочила с лежанки, закричала грубо, не похоже на себя:

– Бандеровцы? Документы?!

Рванула ящик комода, обеими пятернями выгребла отцовские грамоты, орденские книжки, второй горстью зацепила ордена и медали. Раз и два швырнула все это прямо в лицо политруку:

– Натё, подавитесь! Большевики... вы хуже фашистов!..

После таких слов явились все законные основания увести маму насовсем. Увы, браваый старлей утратил прыть, попятился, на лету схватил две-три бумаги, заваливаясь к двери, что-то успел прочитать. Получил связкой медалей по лбу... эхом прорычал:

– Отставить! – отпасовал маме документы и награды, нырнул в пристройку, там поспешно схватил свою шинель и выскочил навстречу клубам пара из входной двери...

Завизжали его пьяные подруги, последовали за ним. Собутельники, как стадо за возжаком, как пахта в узкую воронку, протиснулись в дверь и дальше, на улицу, в снег...

Помню, я нагло, в одной сорочке, перебежал за столики с брошенной снедью и с незнакомой до того злостью стал пожирать многое из того, что осталось, как мой трофей, после пира освободителей. В голове звучала песенка со словами: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек». Я не

помню, где и когда я слышал эту присказку прежде. Казалось, я сам, параллельно, подсознательно пришел к ней. И всю жизнь потом страшился быть просто человеком, без подпорок, без свидетелей и свидетельств.

...Пришла оттепель, за нею промозглая деревенская весна с глубокими рытвинами от сбегаящей в долину воды, с грязью по колено. Загрузившись остатками семенного зерна, ушли «студебеккеры». По уходу военных в село стали забредать нищие. То бабка с внучкой – подайте Христа ради; то пожилой, истощенный мужик: я с Галичины, с дороги не ел... Отец просил маму делиться последним куском. Сам прятал глаза и не выходил на люди – у него еще длился больничный или отпуск по возвращению, не знаю.

Вернулся из армии дядя Петя, мамин брат и отцовский друг юности. Было смешно смотреть, как он, высокий, подтянутый, белобрысый и холеный, в новенькой форме старлея, переступает лужи и ныряет хромовым голенищем в наш чернозем. Этот дошел до Берлина, потому кое-что привез. Три пары сапог, да не наших, «кирзонов», а из немецкой бычьей кожи; десяток зажигалок, тяжелую торбочку камешков к ним; главное же – тетю Фросю, фронтовую подругу. Одну зажигалку я украл, остальные трофеи, скажем, тряпки, репейное масло, бритвы, шарфики, – меня не привлекали.

Отец взбодрился. Я понял, почему сменилось его настроение, только месяц спустя, когда в спальне дяди Пети, на окне, громоздились десятки пачек «Беломорканала». Отец мой не курил, потому пайку, положенную ему по инвалидности, отдавал другу. Не мог же бедный инвалид «за так» отваливать великую драгоценность – в селе курили махру собственного изготовления да еще с примесями, даже с сухим конским пометом. Чем-то крепко дядя Петя удружил отца.

В первый, да и второй послевоенный, год пацаны на всех околотках хвастались: у меня в огороде валяются «живые»

снаряды – во какие!.. я в погреб перетаскиваю – пригодятся... мы с батей припрятали боевой винт: а вдруг румын вернется – пугнем... в Бакшале застрял танк, немцы его спалили, только я там приспособил себе курень.

В драматическом кружке в конце сплошь героической постановки открыто выпускали партизан или солдат – с подлинными винтовками. Палили холостыми пыжами, дыму было много, эффект вводил зрителей в ступор. У многих приятелей, и у головы колхоза, и у завклубом хоть что-нибудь для обороны да было, только я ходил яловым.

И вот под серый вечер, когда дядя Петя уже устроился шофером в соседнем поселке и на прощанье выпивал с отцом, я услышал загадочное имя: «Вальтер». Пропустил бы мимо ушей, но отец прошептал, не подозревая моего присутствия за приотворенной дверью:

– Патронов всего три осталось.

А дядя Петя возразил:

– Я свяжусь с однополчанином, он, пройдоха, достанет обойму.

– А от нашего «ТТ»?..

– Не подходят.

С того дня я возгордился: у нас в хате где-то спрятан немецкий пистолет, который папа выменял у разбитного дяди за папиросы. Когда родители расходились по своим работам, я неспешно, с колотящимся сердцем и частой оглядкой, обшаривал ящики комода, подушки и матрацы, подвал, чердак и даже копны сенажа за домом.

И пока искал, все раздумывал: зачем отцу оружие? И дошел: ночами бродят пришельцы, стучат в окна, к нам тоже. Отец как-то нервно, раз и навсегда сказал:

– Никому не открывать! Это беглые из Западной... – И это решение так не вязалось с первыми его побуждениями делиться с бродягами последним куском. Я вспомнил глубокий страх всей семьи, пережитый в новогоднюю ночь с зам-

политом, и в душе одобрил приобретение пистолета отцом. Он стал бояться своих, и это низкое чувство угнездилося во мне уже навсегда.

Однако тогда мне так хотелось рассмотреть этот «Вальтер», зажать в ладони, прицелиться. Я нашел его, открыв гвоздем мамин тайник, под отцовскими грамотами, рядом с орденами и медалями. Вытащил из кобуры, даже хотел набить ее тряпкой, мол, если заглянут в ящик, то вроде оружие на месте. Только я спешил, замаскировал место дрожащими пальцами и пошел в сарайчик. Там гладил, перебрасывал с ладошки на ладошку тяжелый кусок металла, шептал много раз: «Вальтер»...

Впервые всей душой, даже трепещущим телом я ощутил полноту гордости. И ничего лучше не придумал, как спрятать оружие для себя. В сарайчике, под стенкой валялся огромный ржавый диск от грузовика. Он был наполовину втоптан в навоз и сросся с ним. В отверстие для оси я сунул пистолет, со всех сторон осмотрел его – не замечен, ушел, полным полон своего значения – готов к обороне.

Спал спокойно: я при оружии. Поручения родителей я бросался исполнять опрометью – выслуживался. Но мне было мало знать самому о «Вальтере», жгучую тайну не вмещало хилое сердце подростка.

Уже в мае поганым утром меня разбудил старшеклассник Ваня Куцевой:

– Шибздик, пошли со мной на гору. Мать велела надергать «березки» для Марушки – отелилась, наконец.

Странно для себя, я с охотой вскочил, по привычке не умывшись, побежал было за соседом. Потом меня сбил с толку нечистый: я вернулся в сарайчик, достал пистолет из диска и сунул в карман галифе с грушами ниже колен и закатанными штанинами – подарок того же дяди Пети.

На горе мы дергали запутавшуюся в кустах траву. Ваня заметил мой отдувшийся карман, а еще больше мое частое пощупывание груши галифе.

- Что там у тебя?
- Да так...
- Признайся, что ты украл?

Воровать в послевоенном селе было заурядным делом, и... я признался.

Кущевой долго ощупывал гофрированную рукоятку, гладил ствол, целился в пролетающую ворону.

- Шустрь не глядя, – предложил вдруг.
- Ты сдурел!
- Дам пару вертунов, белых, на яйцах сидят. С гнездом...
- Не-а.
- Еще карабин. В сеннике валяется.
- Верни наган, это батькин. – Я уже злился и ныл.

Домой возвращались молча, глядя в разные стороны. А там я быстро прокрался в комнату отца, устроил пистолет в мамин тайник и закрыл тем же гвоздем.

Неделю спустя в райцентре должны были утверждать отца в должности директора МТС. До войны он больше года служил на этом посту, придя с фронта живым, он по праву мог занять его снова. Пока же в главном кабинете МТС правил дед Турянский.

И вот отцу дали полуторку с водителем, третьим в кабину втиснулся я, поехали. Уже в центре поселка худющий военный с малиновым околышем на фуражке остановил нас и велел ехать не в райком партии, а в НКВД. Полуторка заглохла под окном милиции, водителю велели пойти погулять, а отца, ну, прямо под конвоем повели в домик. Он больше обычного налегал на протез, в глазах обновились страх и недоумение, как в жуткую новогоднюю ночь. Меня забыли в кабине, справа приоткрыты окошки и в машине, и в доме милиции, аккурат в кабинет начальника. А слух у меня – ищейки.

- Здравствуйте, товарищ Турянский! – Это осевший голос отца из форточки.

Я вспомнил, что начальником НКВД у нас в районе сидит сын того самого деда Турянского, что подменял родителя в

его кабинете, пока тот спасался в госпитале и поправлялся дома.

Я не все понимал из разговора у начальника милиции, да и не все звуки хорошо различал. Запомнилось только лицо молодого Турянского: он топал взад-вперед по кабинету, часто упираясь в окно; и робкие ответы отца. Первый был строг, нагл, переполнен той правотой, от которой легче в петлю лезть, а второй снова казался мне без штанов, с узлом кальсон под ягодицей и согбенным на лежанке.

– Это же преступление, граничащее с изменой... – Начальник ушел в дальний угол, и я не расслышал, с изменой чего.

– Полдеревни подбирает оружие в огородах, – глухо сипел отец.

– Вы не полдеревни. Вы единственный коммунист там!

– Единственный, потому и не безопасно...

– А-а, так вы в целях самозащиты?

– Я писал в район о насилии со стороны продотряда... На мои жалобы район не отзывается до сих пор...

– Понятно. Докатались! Скрывать от партии оружие!..

– Я собирался при первой попутке привезти вам пистолет.

– И все никак не подворачивался случай?

– Весна, грязь в колено, в райцентр, даже за газетой, ходил только трактор.

– Сели бы в трактор!

– Он без кабины... в моем положении... Но я вам привез бы с первой попутной машиной.

До меня дошло: Иван Кущевой меня предал. Ужас сковал меня, и прилив его повторялся потом и потом, при малейшем позыве...

Отец тем временем гнусавил, заикался, явно врал, и хотя я его не видел, он мне снова казался уменьшенным и жалким, я вслушивался с напряжением до боли в ушах.

– Наше решение весьма суровое, – говорил молодой Турянский. – Мы подаем бумагу в райком партии. А там еще подумают, куда вас направить. В кабинет директора... или насколько дальше...

Отец онемел. Отпускные деньги его кончились, на шее пятеро усохших от недоедания родственников, а голод к июню разгулялся по Украине...

Не подозревая, что о пистолете все село, а за ним районные власти узнали через меня; не догадываясь, что я слышал речи начальника районного НКВД, отец вышел из-за угла, совсем разбитый и сгорбленный. Щадя сына и опасаясь даже своего давнего водителя, ничего вслух не сказал. Сигналом подозвал шофера:

– Едем в райком партии...

Под старинным панским зданием, где разместились партийные власти, я наполовину в бреду проспал в кабине три часа. Под ложечкой сосало, но я уже привык к голоду, не ныл, не просил есть. А может, тут страх сильно заглушил мои неразвитые человеческие чувства, запугал и развинтил меня, не знаю.

Домой ехали молча, и так же, как с Ванькой Куцевым, смотрели в разные стороны. Решение райкома было милостивым: отца не посадили, но и не вернули ему его законную работу. Отправили в Одессу на год учиться – повышать квалификацию, а там посмотрят. На содержание семьи оставили пятьсот рублей в месяц, это десять хлебцов из суржика и больше ничегошеньки. Что там выпало инвалиду на проживание в большом, разрушенном, напичканном спекулянтами и бандитами городе, не знаю. Слышал только, что он потерял десять килограммов веса в первые же три месяца учебы...

Лето и осень семья наша голодала по-черному. Может, и вымирала бы, но дедушка дежурил по ночам в конюшне и воровал от племенного жеребца по горсти ячменю, для чего

бабушка пришла к подкладке его брезентового плаща карман. Я ни разу не видел, чтобы сама старушка ела. А мама, к тому времени беременная, часто плакала и тихо поддакивала дедушке, мол, власть у нас от дьявола и ей ну просто объясан прийти крах.

Это меня совсем парализовало, я ведь не представлял, что такое власть и что она может быть другой. Зажигалок в хате было три, но зажигать было нечего, военные обманули, керосину не дали, а больше взять негде. Ложились «с курами», чуть темнело; вставали «с третьими петухами» – с первыми лучами солнца и приходом дедушки с караула.

Черные времена едва заметно и, пожалуй, только для нашей родни просветлели к лету сорок седьмого года. Старый Турянский совсем развалил машинно-тракторную станцию, а его всесильного в районе сына, по какой-то разнарядке свыше, посадили. Все решения, принятые с подачи молодого Турянского, отменили. Отца вернули на должность. В глазах земляков он снова приобрел имя-отчество и уважение.

Нравственные последствия этого голодного и лютого года для меня были удручающими: я увидел, что отец мой стал много ниже ростом и часто прячет глаза – бессильный человек, игрушка в чужих руках, не защитник не то что отечества, но и своей семьи. Шли годы, отец десятилетиями служил директором МТС, получил еще не один орден, был похвально пропечатан в столичных газетах... А для меня он – не пример, не уровень цивилизации...

Я не мог забыть бессилие боевого офицера, классного механизатора и инвалида в годы, когда жестоко бедствовала вся его семья. Я всю жизнь до мелочей помню, как холодным утром Нового сорок шестого года отец надел гимнастерку и галифе, пристегнул погоны и сел писать две жалобы в район – партии и военкому. Ответа мы не получили ни через неделю, ни через месяц. Наверное, жалобу фронтовика и ге-

роя разбирают до сих пор – 2011 год, отца уже давно нет на свете.

Ничего ведь не изменилось в разделе людей на букашек и «человеков». А в душе моей кровно связались образы ничтожеств, что в погонах, что при галстуках, они – источник страха и первопричина бед, что в тридцать третьем году, что в сорок шестом, что ныне и присно...

...В пятнадцать лет во мне пробудилось любовное чувство. Поначалу абстрактно, потом направленно, к однокласснице. В эти же дни мой православный дедушка Семен тайно приступил к моему религиозному воспитанию. Среди Заповедей Исхода он выделил как главное для меня – не пожелай жены ближнего. По старости и слабости, он трактовал его жестко: всякое желание женщины – смертельно для мужчины. Глупо, но меня это парализовало. Даже за одной партой с девочкой не мог сидеть – сразу была дрожь и в голове мутилось. Если раньше прикосновение девичьей руки возбуждало, то теперь бросало в транс. Я все боялся греха и смерти. Не знал, к кому обратиться за советом, да и не додумался обращаться – стыдно ведь!

С таким грузом страхов я ходил всю юность.

В институт выдержал огромный конкурс, и тут жуть: каждый педагог, желая порядка у себя на лекциях, напоминал, что на курс набрали лишних людей и, в случае чего, будут без разбору увольнять. Что это за разбор, я не понимал, но страх потерять город и вернуться в гнилую деревню заполнил меня.

А когда развенчали культ личности, я первым радостно сообщил на курсе. Меня тут же изгнали из комсомола, подписали приказ об отчислении из института. Я решил удавиться. Благо, на другой день опубликовали речь Хрущева, и мне заурядно, без извинений и объяснений, вернули комсомольский билет и порвали приказ о моем отчислении. Когда я впал в истерику, кричал о насилии и несправедливости,

двое молодых увели меня за угол и предупредили: если буду барахтаться, уволят по-настоящему.

Когда я начал работать, то сильно выделялся среди коллег придумкой, а еще больше старанием. Первым приходил на студию и последним уходил, планы и выполненную работу сдавал раньше всех, видимо, и качественней. Дважды меня рекомендовали в старшие группы. Но руководство не утверждало – я беспартийный, а значит – изгой. И это клеймо я нес с пониманием, ведь я – верующий... Если будут сокращать, то меня первого.

Душевную трагедию я пережил в конце августа шестьдесят восьмого года. Советские войска громили Пражскую весну. Даже наши припугнутые и зомбированные граждане пытались найти суть в этом несуразном событии. Чтобы в корне пресечь «крамольные слухи», партия усилила досмотр за вольнодумцами. Местные активисты искали «ведьму в своих коллективах».

А я слыл чехом, да еще несдержанным на язык. Вот и пошли письма, куда следует, на негодное поведение такого-то. Таскали по кабинетам и комитетам. Даже к секретарю обкома вызвали. И чудо! Когда тот зачитал мне дюжину доносов на меня, я вышел из себя, расплакался и вскричал:

– У меня мама чешка! Я разобью морду всякому, кто повторит то, что наш парторг нес на собрании: «Все чехи – сволочи!»...

Секретарь подал мне воды, успокоил и... вокруг меня сотворился вакуум. Меня не трогали, но меня и не было для коллектива... Я – изгой...

Я бы умер. Но явился человек, женщина, Леся Лозовская, журналистка.

– А ты имей их в виду, – сказала она. – Не возжайся с государственной властью. Живи с людьми, которые тебя понимают. Найди таких. Найди такую работу, которая и нужна людям, и тебя кормит. Власть – отдельно, ты – отдельно.

Я стряхнул с себя страх. Служил спустя рукава, ждал и дождался: меня ушли с выгодной должности. На новой работе я получал меньше, чем я того стоил, и теперь пенсия у меня мизерная. Пишу и издаю книги без гонорара. Но я не служу Молоху, дьяволу, да просто беспардонным хапугам. Прежде это было сонмище чиновников, теперь клан олигархов, их сателлиты и те же ненасытные чиновники. Я выражаю себя и кому-то интересен. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

И вот передаю вам совет покойной Леси Лозовской, делкатной и с виду робкой женщины:

– Люди, отвернитесь от пропаганды, не дайте себя зомбировать косноязычным, заведомо продажным глашатаям. Обратите внимание на себя. Избавьтесь от эфемерных страхов. Найдите работу только для заработка, откройте духовную жизнь в себе. Не слишком считайтесь с убогими мыслями властей предержащих и их приспешников. Вы достойны уважения, а главное – самоуважения. Только такими власти будут бояться уже вас!

26

О литературе Маляров не рассуждает, пересказывать жизнь – это его имманентное состояние. Да, понимает он, читают люди все меньше, есть заменитель для поддразнивания их голеньких нервов – телевидение, радио, Интернет. Да, пишущая братия опошлилась: не копаются в действительности, не вынашивает, как слониха, по два, что ли, года одного малыша. Перестали быть «списувателями» из жизни, повально сели на иглу детективов и фантастики. А это так легко и просто.

Существуют фрамуги, в которые только вставляй имена и названия. Показали дорогу классики жанра: Лем, Азимов, Бредбери... Дожились до Марининой, Донцовой, кто

там еще подвизается в этом малополезном, примитивном занятии! В общем, напечатанное на бумаге слово тонет в Интернете и лени читателей.

Но служить ему Маляров будет до последнего издыхания. При большевиках издательства сильно портили его опусы, но платили. Теперь же гонорары он получает только от периодики, и то – нищие, копеечные. Книги издает за счет доброжелателей и яростных любителей его натуральной прозы. Но это «за счет» – только на типографию, остальное он готовит сам, из своей почти минимальной пенсии. И чем безнадежней дела в литературе, тем отчаянней старик добивается совершенства.

Театр, его основная профессия, тоже не радует. Этот вид искусства может стоять только на тех ногах, какие ему приделали древние греки, итальянская комедия дель-арте, а потом – величайший Чехов и его последователи. Шекспир мог бы в этом ряду занять место раньше Антона Павловича, если бы он не писал для дураков. Мнение Малярова, совпавшее с доказательствами Льва Толстого, для читателя сей монографии не обязательно. А новейшие формы, скорее, затеи, – однодневные выходки талантов, не более.

О власти Маляров думает так. Она должна быть незаметной, похожей на работа. Есть законы – они быть обязательны только для властей. Люди сами для себя придумывают и живут по своим законам, как глаголил Пушкин: «Писатель... творит по законам, самим для себя созданным». Лучший закон – Закон Божий. Только священнослужители обязаны быть одержимыми стойками.

«Во всем надо знать меру», – говаривал тот же господин Залевски из «Трех товарищей». Правда, он умер от перепоя... Но это явление – уже литературный парадокс для увеселения души и для того, чтобы проза стала художественной. А по мнению нашего героя – для привнесения в жизнь шутки. «Уныние – большой грех», – повторяет за Святым Писанием наш Маляров, самый унылый в душе и самый затейливый среди нас сочинитель.

Что касается украинской власти, то наш «списуватель» думает так. Руль захватили люди беспомощные, недоучки по знаниям и недоумки по духу. Наши владыки живут и правят как бы в отместку за свое прошлое. Отсюда страусовые туфли, любовницы под рукой – на избыточных государственных харчах, дворцы с золотыми унитазами. Унитаз драгоценный, но испражнения-то все те же.

Эти люди сами не способны вершить право. Они нанимают профосов, которые есть воистину прохвосты! А прохвосты выстраивают идеологию страны, не понимая, на кого ориентироваться. Скажем, они ставку делают на восточную часть земли. Мол, эти нам ближе, а по самой сути, что те, что эти – один хрен... Ан, нет. То есть, да: паны драли уши и давали подзатыльники и на востоке и на западе. Но! На западе били, чтобы вышибить дурь и лень, чтобы подтянуть простолюдин к развитию и культуре панского уровня, а на востоке били тех, кто поумнее, чтобы отбить остатки мысли, зомбировать. Маляров живет на востоке, потому не боится, что за последний тезис его отдерут. А как его били по уму и по сердцу, читайте выше.

Еще один парадокс от Малярова:

– Сочувствую нашим властям. Им приходится жить не двойной, а тройной жизнью. Одна, основная, их деятельность – распространять свою коммерцию на страну, извлекать двухсотпроцентную выгоду для себя и своих приспешников. Вторая – в поте лица крутить плутовскую политику, чтобы охмурять нас, многогрешных, и держаться при власти. И третья – отламывать черствые куски от якобы их добра и бросать нам, чтобы окончательно не вымерли. Не хотел бы сидеть в их шкуре.

Обо всем таком хочется нашему автору рассказать до-тошно. Но увы! Ежедневная журналистика ворошит большие темы, но поверхностно и с оглядкой. Получается, что материал уже не нов и в художественный образ ляжет вторичным. К тому же адская сложность писать нашу жизнь.

Ведь среда обитания и власти предрержащих и «пересичных» – это прозрачная игра, лгут все, никто никому не верит, но делают вид, что живут естественно.

А уж на бумагу положить нашего брата – каторга. Изъясняемся суржиком, эмоции выражаем матерными фрамугами, а литература требует хорошего вкуса... Все вышесказанное – из-под моего стола, с диктофона, то есть со слов расходившегося Андреича. Я могу с ним не соглашаться, все-таки живу эстетикой: музыкой, вокалом, воспитанием молодежи, а у моего коллеги по перу – подноготная, подлинная, какая там еще бывает, правда!

Вот история с подлинными именами.

*Я с детства питал робкое
 благоговение перед
женщиной, я на всю жизнь
 остался надломленным
и ошеломленным ее красотой.*

Б. Пастернак

...Накануне лил, падал, накатывал дождь, ночью ударил мороз; сегодня грунт исчез, село покрылось коркой, разводами, зеркалом льда. Неугомонная Тася напялила на чуни огрызки довоенных чулок, охватила подбородок узлом платка, натянула на свои ровные, норовисто вздрагивающие плечи плюшевку. Не думая, напрочь спрятала свое вечно настороженное, смазливое лицо, сросшиеся брови, ресницы-опахала. Зато теперь ни каверзный лед, ни колючий ветер ей ничем.

К хатам вернувшихся солдат не подходит, выискивает сверстниц-вдовушек. Самой ей тридцать третий годочек. До войны у нее был Жора, изваянный самим Господом механик: рыжие кудри торчком, рослый стан, руки-ноги соразмерные; прыгал рыбкай выше себя. На их свадьбе конюх дед Гоша изрек: эти созданы ходить в упряжке.

Любила Тася Жору истово, за пять лет родила трех девчонок. Погиб он глупо, в первые дни войны. С дружками-пилотами, на отстое, подались в челноке удить рыбку. Азовское море крохотное, но и там, не забывай, вспыхивают бури – утонул. Сердитое начальство даже похоронку не прислало. Молдаванин Кондря сбежал в плен и все рассказал новоявленной вдовушке.

Потеряв Жору, страдалница махнула на себя рукой. Пылающее тело не устояло перед румынским офицером – первая молва по селу. Вернулись наши – молодицу, через долгие отказы и допросы, пожалев Жориных детей, насилу взяли в склад запчастей МТС. В косовицу агрегаты работали и ломались и по ночам – трактористы-комбайнеры подкатывали на возках или верхом за шестеренками-патрубками-болтами.

Кладовщицу будили на хате. Иной, смазливый да ретивый, умудрялся вымыть руки и на минутку протиснуться в распахнутое в летнюю духоту окно – вторая, третья и далее молва меж бабок, овдовевших еще в гражданскую...

...Прошла Тася мимо Витьки-инвалида. Тот стоял над ямой – вырыл под землянку для малой своей семьи, а труд его затопило и сковало льдом. Не добежала до правления колхоза «Двенадцатилетие» и замерла. За облипшей сосульками дерезой – втиснутая в землю мазанка. Из глухой стены смотрит печное окошко, четверть-на-четверть, с той стороны прилепились две головки и белеют два расплющенных носика. Дверь отворена и дымит в холод, на пороге стоит Зинка-солдатка в трепаном пиджачке еще с мужниного плеча, в своих перстами шитых валенках. Руки крест-накрест, голова с давно невымытой косой – чуть набок, на лице полная и высокая обреченность. В теснящем дворике – малая толпа со всего околотка и черноротая Матроня с нескончаемой речью:

– Люди добрые, сами пощупайте эту золу! Вот, за Зинкиным тыном собрала. Это же сожженные перья от моей зо-

зулястой несущи. Я свое носом чую. И с хаты ее несет паленым пером! Только понюхайте, понюхайте! Шоб она ею подавилась. Нечем деток кормить? А у меня есть чем!? До суду-расправы эту злодейку!

Толпа не гудела, не свидетельствовала, среди соседей, сбежавшихся на вопли, не было ни одного, кто бы не воровал, не врал, – такое время. Но все кивали, хоть и невпопад, осуждающе. А Зина стояла величаво: даже если она лазила в чужой курятник, если и патрала чужую курицу, потом сжигала перо, то только чтобы спасти от голода двух своих огольцов. Святое дело...

Тасе давняя товарка показалась красивой, как на иконе. Она протиснулась сквозь зевак и мелко поклонилась хозяйке:

– Зина, прости меня, коли что не так. И приходи сегодня ко мне ввечери. Помянем своих упокоенных солдат, поплачем. У меня самогоночка из брикетов киселя, у меня огурчики соленые и свежая выпечка из отрубей...

Малая толпа закивала головами чаще и по-другому, черноротая Матроне на минуту погасла. А когда поновила вопли, то уже слабо, с оглядкой на нырявших в дерезу зевак.

...Катю Курток Тася застала у «журавля». Корчеватая бабенка развела костер под камнями и грела в металлической бочке воду. Черпала бадьей уже теплую и доливала в желоб. Дюжина тощих, с обвисшими крупами, давно не знавших скребка упряжных кляч нехотя пила. Катя материлась по-мужицки:

– Солдатики обленились за войну на всем готовом. Ячней соломы не завезут от блокочки, животины ясли грызут. А поют их – прямо ледяной!..

Фуфайка на ней распахнута, платок сбит на затылок, на все село жарко было только этой неумной молодежи...

Тася зашла к ней спереди, поклонилась:

– Катя, прости меня за все прошлое... У меня ввечери собираются вдовы солдатки. Приходи, погорюем.

– Пошла бы ты, Тася, на хрен! С чем я приду? На трудодень – дуля с маком, своей босоте хавать нечего.

– У меня такой-сякой закус найдется. Главное же – первачок! Не придешь, подумаю – не прощаешь...

...К цыганке Рае Яскуриной Тася пошла прямо в кузницу. Под дырявым дашком гнул и формовал сапки восьмидесятилетний Самуил, последнее прибежище многодетной чернявки-вдовушки. Год она служила у этого давнего холостяка молотобойцем, в кузнице и сошлись. От горна разогретая и подсвеченная бликами, с открытых дверей продутая сквозняком, Рая смотрелась ведьмой на Лысой горе, сильная, красивая, желанная.

– Бог на помощь вам, ковали! Рая, тебя можно на часик?

– А шо, у тебя што-то есть?

– Приходи ввечери, будет. Выпьем, простишь меня за дурь и за слабый передок...

...Смеркалось рано, вспыхнул фитиль в сплющенной гильзе от малокалиберной пушки. Первой ожидаемо пришла Рая-цыганка. Самуил завернул ей в подол фартука десяток вареных яиц. Зина явилась с пустыми руками, зато привела подслеповатую Устю. Все трое ругали гололед и голову колхоза.

Нескоро, еще не заварили жженым сахаром чай, прибежали вдовушки с Заречанского хутора. Как всегда впопыхах вбежала черноротая Матроня. Под мышкой у нее печеная утка, а в застиранной марле сухарики и сушка. И как у этой змеи все получается: в погребке вечно пара глечиков со схваченными прошлогодним смальцем шкварками, в сенях полдюжины несушек, в передней, вкупе с тремя мал мала меньше детками, – теленок жует все, что сдыбает... Может, потому, что она в партии состоит и бригадиршей служит? А может, и в партию взяли, потому что руки у девки так устроены, чтобы все к себе? Слава Богу, хоть своих не чурается!

Матроня уселась во главу стола, велела разлить по гранчакам, щербатым чашечкам, металлическим кружкам, да

все одной меркой, стограммовой мензуркой, унесенной из аптеки, еще когда наши отступали и селяне растаскивали по хатам все, от колхозных коров до галош председателя.

– Будьмо! – подняла Матроня свою мерку, полную за края. – Нехай им, славным и сладеньким, земля пухом, а нам больше не нюхать мазут, не стирать портки, не будить пьяных до трактора.

Цыганка Рая фыркнула:

– Матроня, а чего то ты такая дурная?

– А шоб от лишнего ума не повеситься, – нашлась ушлая бабенка.

Выпили так. Ритуально запели, поначалу со слезой:

Якбы маты знала, яка мэни беда,

То передала бы горобчыком хлеба...

Глотнули еще. Потом выступила Тася:

– Шо б вы там про меня не плели, а я счастливая. Я шесть с половиной лет держала Жору за шо хотела. И потом, кто бы не приклеивался к моему чистому телу, а я смежу веки и вижу, на оцупь чую... Жору.

И первая заплакала. Взахлеб молодницы глотнули из своих емкостей и дружно, на разные лады завывали, заскулили, затужили...

– Мой велел детей беречь...

– А мой ни одного письма не успел...

– А мой к Гаше ходил, царствие ему небесное...

Третья чарка погнала кровь в голову, а звон в голоса. Поминальный тон переходил в святочный, каждую потянуло перекричать товарок, ноги уже ходили под столом, глаза искали простора.

Ни лужайки с бревнами для зевак и толокой для притопов, ни гармониста с трехрядкой не было. Посреди тесной светелки стоял расшатанный, облезлый табурет. Луженой глоткой и длиннющим своим языком чернавка Рая наиграла краковяк. Поднялись три, потом четыре вдовушки, запусти-

ли свои трели и пошли толпиться вокруг табурета. Размахивали руками, били себя по бедрам и ягодицам, подпевали. Жажда простора и выброса Бог весть откуда накопившейся энергии нарастала. Ганя из Заречанки вспрыгнула на табурет и завопила:

*Ой ты, Гандзя, будь весэла,
Бери торбу, да на сэла.
А ще палку-роскаряку,
Щоб не цапнув пес за с...*

Черноротая Матроня спихнула подружку на землю, курицей вспрыгнула на табурет и вящим голосом поддала:

*Як я була молода, так я була ловка –
Села с... сэрэд хаты – злякалася вовка!*

Выдумка царила не только в припевках – резвым движениям и срамным намекам не было счета. Катя Кирток частушку смешивала со слезой:

*Катэрино, одчыны, я прынис горилкы.
В тебэ нэма чоловика, в мэнэ нэма жинкы!*

Тася вздыбилась на расшатанном помосте, голосом и скоромностью превзошла всех товарок, в гопаке приседа, визжала:

*Я танцюю, пидскакую –
Маю черта пид с...*

Что там теснилось, колотилось, смешивалось в душах одиноких женщин, как их сердечка сливались и выплескивались, зачем столь вульгарно и почему так красиво – тайна великая! Дерзкими, непотребными словами они глушили, тусевали уныние души.

В дикой степи, в селе с давно пересохшей речкой и никогда не насаженным лесом, без мужской ласки, с кавычками в гроссбухе вместо трудодней – эти недокормленные и на диво здоровые самочки уже привыкли изобретать для себя

праздники и стимулы, дневное пропитание и слова утехи для землячек и для детей. От завтрашнего дня ждали мало хорошего, отказывали себе в первейшем и необходимом.

Отказывали все... только не Тася. Кипящая, помолодевшая, лучшая на девичнике, она далеко за полночь, вытолкав товарок, разделась догола, встала в мятый тазик, вылила на себя весь остывший за заслонкой в печи кипяток, растерлась, накинула жесткую домотканую сорочку до пят... прошла сени, базок для телочки, из окна в окно нырнула в соседнюю хату.

Там в одиночестве спал двоюродный племянник Сеня, отгороженный от деда-бабки стенкой, сенцами и еще одной стенкой. Ему за шестнадцать, затылок крепкий, рост таковой, что дед с бабой шутят: а не слез бы ты, внучек, с коня!

Постояла, потрогала стеганое лоскутное одеяло – а вдруг сегодня тут спит не Сеня, а дед Гоша? Воровато приподняла край полотна, сама, как привидение, скомкалась, сплющилась и забралась в теплую берлогу.

– Спи, сынок, спи... я полежу, согреюсь только.

И замерла, вся смежилась. Обдаться бы силой молодца хотя бы так, вчуже. Грешное тело не смирялось, дыхание частило, распирало груди, разбрасывало половинки черт-те куда, дрожь спускалась по плечам, бедрам, рукам, ногам. Сколько раз она принимала мужчину, и все так же кипя и страдая, брала и не могла взять всего должного ей...

– Положи руку сюда... ты уже большой...

Ждала. Ее трепет передавался полусонному, потом оживающему парню. Он натягивал одеяло на голову, там и застряли его руки. Она, сильная среди белого дня, становилась вдвое сильнее ночью. Повернула Сеню к себе лицом.

– Ты поймешь меня, когда вырастешь... Ты понимаешь меня теперь, только бережешь себя... Меньше думай о себе... думай о нашей сестре...

...Сеня сам поворачивал свою долюшку к лучшему. В начале лета получил аттестат зрелости. Паспорт на выезд из села не давали, так он прикинулся малолеткой и подписал согласие на вступление в фабрично-заводское училище. И поступил. Сколько надо, терпел в холодном цехе маты мастера. Вышел из училища юным рационализатором. Комсомол узрел в нем кадры для верфи – отправил в корабельный институт. Там парень показал себя казаком, ходил опрятно, носил наручные часы «Победа». Закончил отличником. В два года вырос до заметного мастера огромного цеха, по выходным повязывал галстуки, встречался с одной-другой девушкой.

Наконец решил жениться... и не мог. Странная, сказочная история – парень вроде бы и перешагнул в новую цивилизацию, но по самой своей селянской сути остался при дедовских нравах. Не мог найти любовь такую, точно такую... как тетька Тася...

27

*Т*ьесы Анатолий Маляров пишет с последнего курса института. Они шли на телевидении: в Киеве, Днепропетровске, Николаеве. В двух театрах Николаева и одном Запорожья; на столичном радио и на двух программах в Николаеве, впрочем, как и многие его рассказы.

Диалоги у него легкие и едкие, всегда со смыслом и часто с двойным дном. А источник – та же житейская история и окружающие его люди.

Разумеется, учился он этому ремеслу и в театральном институте, и беря множество халтур по Дворцам культуры: то к Новому году, то к юбилеям. А более всего – служба в театре режиссером и тем же присяжным драматургом. Бог

драматургии, образец и учитель – Антон Чехов. Еще, пожалуй, Иван Тобилович. Хотел бы подражать Александру Володину. Понятно, ни до одного из классиков старик не допрыгнул, но всю жизнь старался. Для иллюстрации можно привести одноактовку, собственно, первую картину из его головоломной комедии, как всегда, про хорошо знакомых людей...

Актерская брехаловка. Световая надпись сверху: «ТИХО! ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ». Два столика, на них пепельницы, чашечки; стулья вразброс. В задней стене – широкая дверь из матового стекла; плывут и мечутся тени. Из динамиков слышны диалоги артистов в образах.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя!

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Заплатите мне деньги, и я уйду.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Я сказала вам русским языком: денег у меня свободных теперь нет, погодите до послезавтра.

(Входит взвинченная ЕВА, слушает голоса, усаживается за столик, ждет.)

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Я тоже имел честь сказать вам русским языком: деньги нужны мне не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься.

ГОЛОС РЕЖИССЕРА. Стоп! Стоп! Повторите, пожалуйста, как вам нужны деньги и немедленно. Вы прямо без куска хлеба, у вас отчаянное положение, вы готовы на все, только бы выкарабкаться!

(ЕВА начинает плакать; утирается, пьет из чужой чашки.)

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься! (*От себя, режиссеру*). Можно, я пойду на что угодно ради...

ГОЛОС РЕЖИССЕРА. Да, да. Только у вас мало правды. Сегодняшней правды. Сегодня люди идут на любые ухищрения, на крайние сделки, только бы добыть – кто дневное пропитание, кто мнимое благополучие, а кто и по большому счету – себя закладывает. Ладно, не получается. Сделаем перерыв на четверть часа.

(За матовым стеклом гаснет свет. ЕВА прихорашивается, делает веселое лицо, поднимается, ходит. Появляется АДАМ, хочет пройти мимо. Роняет огромную сумку. Из нее вываливаются костюм, парики. Он рассеянно укладывает их обратно.)

ЕВА. Вы артист?

АДАМ. А что, неубедительный фейс?

ЕВА (*ходит вокруг него*). Ничего, только я вас не видела на сцене.

АДАМ. А я только пытаюсь осчастливить ваш театр.

ЕВА. Как повезло!

АДАМ. Вашему театру?

ЕВА. Мне. Вы мне подходите. Вы можете задержаться на пять, ну, на десять минут? У вас ведь перерыв в репетиции.

АДАМ. Нужен кавалер на вечер? Почему вы останавливаетесь на мне? Не то амплу – простак. Там, в репетиционном зале, скучает молодой герой, хват, звать красиво – Слава! Он подойдет больше.

ЕВА. Нет-нет, Бог послал мне именно вас.

АДАМ. Итак, пять, десять или, может быть, пятнадцать минут?

ЕВА. В зависимости от того, как раскрутится разговор.

АДАМ. Выберем среднее – десять минут. У меня цейт-нот.

ЕВА. У меня тем более. Садитесь.

АДАМ. Что за обстоятельство! Может, фуршетом, на ножках?

ЕВА. Упадете.

АДАМ. Или пройдемся в скверик...

ЕВА. Я говорю, упадете!

АДАМ. Это уже любопытно.

(Он ждет. Она садится, он садится. Тут же подходит официантка.)

ОФИЦИАНТКА ЛИНА. Кофе, мороженое, безалкогольные, прохладительные?

ЕВА. Мы ждем, когда нас оставят наедине.

ЛИНА. Коктейли, пирожные...

ЕВА. Вы сегодня без слухового аппарата? Или это профессиональное?

ЛИНА. Мы заинтересованы угостить...

ЕВА. И попутно повертеться перед новым молодым человеком. (АДАМУ) Ну, как вам девушки города невест?

АДАМ *(глядя то на ЛИНУ, то на ЕВУ)*. Глаза разбегаются!

ЕВА *(ЛИНЕ)*. У меня и у господина лицедея – цейтнот. Вы понимаете по-русски: цейт-нот?

ЛИНА. Я тоже не гуляю.

(ЛИНА делает глазки АДАМУ, уходит. ЕВА успокаивает себя.)

ЕВА. Раз...два...три...

АДАМ. Закручиваете интригу?

ЕВА. Мне нужен первый мужчина.

(Пауза, за дверью падает тяжелое. За столиком всполошились. Поменялись местами.)

АДАМ. Не догоняю. Повторите.

ЕВА. Мне. Нужен. Первый. Мужчина.

(Пауза.)

АДАМ. А вы не боитесь, что сюда войдут?

ЕВА. Время не терпит.

АДАМ (*хватая воздух*). И потом... моя карьера. Только переступил порог нового коллектива... Это ловушка!

ЕВА. Играем труса?

АДАМ. Не в моих правилах. Но осмотрительность... и нормы приличия...

ЕВА. А внешне вы – парень из нашего сложненького времени, по виду знаете, что такое конкуренция и – лови момент!

АДАМ (*подтягиваясь*). Да, ловлю... но как-то все сразу привалило...

ЕВА. Сядьте. У меня еще восемь минут.

АДАМ. Мне они покажутся восьмью годами. И в местах не столь отдаленных.

ЕВА. Сели. Вдохнули. Успокоились.

АДАМ (*сползая на стул подальше от нее*). Первый мужчина здесь и сейчас. Эдак по-деловому, бесстрастно. В вашем городе так заведено?

ЕВА. Только для гостей. Как в Центральной Африке.

АДАМ. А фронт! (*Поднимается.*) Ну что ж! Валяйте, только по-быстрому.

ЕВА. Сядьте!

АДАМ. Не понял.

ЕВА. Я на вас останавливаю выбор потому, что вас город не знает и вы – артист.

АДАМ. А коренной житель из других сфер деятельности вам не подойдет? Скажем, карусельщик, госслужащий или уголовник? О, у вас еще завелись мальчики по вызову! Настоятельно советую – профессионально работают.

ЕВА. Вы суетитесь, сверкаете глазами и остроумием, а минуты уходят.

АДАМ (*ходит вокруг столиков*). Много видел. Из дому бежал, вагоны разгружал, по три дня не едал, в Сибири, в Дагестане играл... Тьху ты, от волнения заговорил стихами! В сказках – три желания исполнял, в комедии дурака валял, в трагедии – покойника изображал...(*ЕВЕ*.) Я не стихами говорю?

ЕВА. Дрянными стихами.

АДАМ. В таком случае, дельце мое дрянь. Вынь да положь вам первого мужчину? Нет, надо бы выпить и зажевать стресс. Зовите официантку. Заказывайте устрицы пофленбургски, тюрбо, шампанское с белой печатью!

ЕВА. Вас случайно не Стивом Облонским зовут? Вы не из барского рода?

АДАМ. Копайте глубже. Адам из Эдема.

ЕВА. Очень приятно. (*Делает книксен*.) Ева из ребра.

АДАМ. История. Древнейшая история по-польски. Про Адама и про Еву, что сорвала плод из дерева, спровоцировала и Адама эта сама гола дама. (*Садится*.) Да-а. Так вам понадобится первый мужчина? Именно первый?

ЕВА. Второй и третий у меня уже были.

(*Пауза. Сухой глоток у парня*.)

АДАМ (*кричит*). Обслуга!

ЕВА. Без паники.

АДАМ. Я таки закажу чего-нибудь. Девушка! Как ее? Кажется, Лина.

ЕВА. Бургундского с белой печатью? Или, по-земному, стопарь с прицепом?

(Подплывает официантка с блокнотом.)

ЛИНА. Поладили и надумали? Слушаю.

АДАМ. Коктейль «Южный». Два раза.

ЕВА. Один. Двойной.

АДАМ. Два двойных.

ЕВА. Один двойной для гостя.

АДАМ. Ну, во-первых, неизвестно: гость или уже хозяин. Просмотр и решение художественного совета послезавтра. Подготовимся, отрепетируем и – станем хозяином. А во-вторых, мне нравится первое разночтение для знакомства. *(ЛИНЕ.)* Что вы стоите?

ЛИНА. Силюсь понять ваш заказ.

АДАМ. Два двойных.

ЕВА *(одновременно с ним)*. Один двойной для гостя, который сильно хочет стать хозяином.

ЛИНА. Пишем: три двойных, один – раз, в общем, на мое усмотрение.

АДАМ. Ну вот, понятно же!

ЕВА. Понятное недоразумение.

АДАМ. Закусить бы такие дозы...

ЕВА. Несите, что там есть.

АДАМ. Но в пределах возможностей безработного.

ЕВА. Не беспокойтесь, плачу – я.

АДАМ. Ого! *(ЛИНЕ.)* Лучше уйти. Для начала ничего не надо.

(Сдвинув плечиками, ЛИНА уходит.)

Как прикажете понимать вас? Вы меня снимаете?!

ЕВА. Приказывать вам не имею права. Пока. Но ничего странного я не вижу. Вы – приезжий, безработный, субтильный и слегка сдвинутый по фазе. Наверное, от недоедания и неустроенности.

АДАМ. Э-э-э, по такой характеристике ваш худсовет не даст за меня и ломаного гроша!

ЕВА. Я дам, сколько затребуете.

АДАМ. Я вас помаленьку начинаю бояться.

ЕВА. По законам скорпиона: партнер запуган – приступаем к делу.

АДАМ. Следующий этап – откусывание моей буйной головушки?

ЕВА. Снова празднуем труса?

(Официантка ставит пиалы.)

АДАМ. С этой пиалы я уже ел.

ЕВА. Повторите. Вам понадобится много сил.

АДАМ *(ЛИНЕ)*. В вашем городе все такие девушки на выданье?

ЛИНА. Не наговаривайте. Эта в нашем городе лечится.

ЕВА. Я – коренная.

ЛИНА. Коренная или пристыжная, а вы, молодой человек, влипли.

(Сдвинув плечиком, ЛИНА уходит.)

АДАМ. Если суммировать все увиденное и услышанное – прощай мечты о вашем театре и о вашем прелестном городе. Для меня... предпочтительней – слинять.

ЕВА. Слиняем вместе. Я ведь плачу.

АДАМ. Для меня меньше риска, если рассчитывать по-американски.

ЕВА. Сидите.

АДАМ. Сижу. (*Странно, не жуя, глотает.*) Но требую объяснений. Не смахиваю ли я на Муму за последним ужином с Герасимом?

ЕВА. С виду вы осмысленный парень, хоть и артист. И должны бы знать, что выяснение отношений – самое перспективное занятие. Особенно между молодыми...

АДАМ. Между молодыми людьми или молодыми обреченными?

ЕВА. Это острога? Выяснение отношений – глупейшее занятие вообще. Если пару клонит в одну сторону – дерзайте, а если один в тын, а другой в ворота – выносите святых.

АДАМ (*вытираясь салфеткой*). И все же начнем с глупейшего вопроса. Что вам от меня нужно?

ЕВА. Мне нужен первый мужчина. Задним числом.

АДАМ (*трет лоб*). Первый... задним?.. Хорошо. Попытаюсь понять это на досуге.

ЕВА. Объясняю, не отходя от кассы. Я собираюсь замуж. Не без выгоды.

АДАМ. Уточнение? Я тут ни при чем?

ЕВА. При всем...только косвенно. Так сказать, страдательный падеж.

АДАМ (*все более смурнеет*). А действительный падеж – кто?

ЕВА. Крутой. Мужичонко почти средних лет, чреватый, похож на Джека Николсона.

АДАМ. Похож на Николсона – талантом?

ЕВА. Залысынами.

АДАМ. И если крутой, то?..

ЕВА. В ближайшей перспективе, может быть, втайне, на чужое имя – домик в престижном Заречье, площадью гектар, две иномарки, полдюжины шестерок с кулаками в пуд, загранвояжи и сережки – по десять тысяч в каждое ухо!!

АДАМ. Уточнение: по десять тысяч в национальной валюте?

ЕВА. В условных единицах.

АДАМ. Ну! Ну-у!! Орлан на пичужку не клонет.

ЕВА. По предварительным данным – пентюх, из научных лохов и чудак писаный. Подбирает спутницу жизни не по фейсу и не по длине ноги, а по каким-то идиотским критериям, от науки.

АДАМ. Требуется в жертву случайного Авеля?

ЕВА. Хуже. Требуется все начистоту. Причем – вещественно.

АДАМ. Не понятно, но смешно. Ха-ха-ха...Хо-хо-хо! Вернее, смешно, но не понятно.

ЕВА. Ну и неприлично вы смеетесь! Grimаса, хрип, зубы...

АДАМ. Суду все ясно. Вынь да положи натурального меня. Почему?

ЕВА. Ревновать не будет. Серо-статистический экземпляр. На улице встретишь, не обратишь внимания.

АДАМ. Тише, я не хочу, чтобы худсовет услышал мнение зрителя об абитуриенте... И потом, это я в быту такой, а видели бы вы меня в Змее-Горыныче. Румянец во все шесть щек, пламень изо всех шести ноздрей, а хвост – секира!

ЕВА. Слабак и вдруг – Змей-Горыныч!

АДАМ. Я бегаю на длинные дистанции.

ЕВА. Это вам вскоре пригодится.

АДАМ. А что касается «встретишь – не обратишь внимания», то меня однажды даже остановили на улице!

ЕВА. Милиция?

АДАМ. Невоспитанная вы женщина!

ЕВА. Девушка! Но не будем терять время на пустяки. Цейтнот! Запоминайте, вы мой школьный товарищ. И случилась между нами эта вся канитель на выпускном вечере, в легком хмелю. Я спутала вас с тренером.

АДАМ. Не убедительнее ли – прямо с директором?

ЕВА. Директор у нас была женщина, запомнили?

АДАМ. Я, конечно, задержался в развитии, но замечаю много проколов. Одноклассники – и на «вы». Разница в возрасте – три, а то и все пять лет.

ЕВА. Пока доберемся до Крутого, перейдем на «ты». А разница в возрасте? Вы же признались: задержка в развитии. Трудное младенчество, голодание, длительное лечение, олигофрения. Да, о-лиго-френия. По два года сидели в каждом классе.

АДАМ. Да я всю дорогу отличник. Крутляк! У меня пол-класса списывало, а за вторую половину я решал второй вариант! А на актерском факультете!.. Вот красный диплом. Ношу с собой, устраиваюсь в театре! На контрамарку принципиально не рассчитывайте! У-у, как я зол!

ЕВА. Документ спрячьте. Теперь кандидаты наук торгуют в киосках. Мне нужен хлюпик и с некоторыми отклонениями, умственными и физическими. Плоть от плоти, кровь от крови – образ.

(Пауза. Оба тяжело дышат.)

АДАМ. Послушайте, Ева из ребра! Вам необходимо потерять невинность? Сколько способов изобретено смертными! При виде такой клубнички у многих глазки загорятся и слюнки потекут... Только где логика? Почему я? Такая кобета, нахватанная, сексапильная, и вдруг – требуется хлюпик, с отклонениями! Не подходят православные, сочините, что ваши родители – древние иудеи, вместо конфирмации, там были какие-то острые камни...

ЕВА. Бред! Не подходит. Мой крутой – натуралист. Творит какой-то эксперимент. Ему нужна правда, предпочтительно – голая.

АДАМ (*затягивает ремень, застегивает пуговицы*). Ну-ну!

ЕВА. Он хоть и смурной, но ученый. Даже – не то кандидат, не то доктор.

АДАМ. Степень купил раньше, чем дом в престижном Заречье, площадью в гектар, и две иномарки – оптом. На что вы клюете, Ева из Адамова ребра?

ЕВА. На дом в престижном Заречье и две иномарки. Еще на загранвояжи и – сережки, сережки по десять тысяч в каждом ухе! Вы посмотрите, что у меня болтается в мочках. Посмотрите! Срам!

АДАМ (*присматривается*). Да, похоже на срам. Женского рода.

ЕВА. Ох, как мне надоели слабаки, беспривязные, вроде вас, актеришек, – птички Божьи без заботы и труда. Но и без обязанности приносить хоть что-нибудь в клюве для самочки. Захотелось сытой основательности. Растолстеть захотелось, в седан еле протискиваться, гривны сотнями кидать на чай, подруг иметь – жен воров в законе и депутатов из столицы! Пусть тупо, скучно, но надежно... Ге-ге-ге...

(ЕВА вдруг разрыдалась. АДАМ подает ей чашку.)

АДАМ. И это город невест!

ЕВА. Принимайте, какой есть.

АДАМ. Можно принимать, а можно пренебречь. Контракт не подписан ни с вами, ни с театром. И там и тут – риск. Худсовету может не подойти мое амплуа, а с вашим Крутым вообще диверсия. Вот вы приведете меня к нему, не успеете представить, как первого, а он с плеча въедет мне в лоб. Я с катушек, а он ножками, ножками под ребрышки.

ЕВА (*забыв слезы*). Нет. У вас большая фантазия. Он не дерется. Смирный. У него есть кому избивать. Амбалы, работают профессионально.

АДАМ. Вы меня успокоили.

ЕВА. И славненько. Теперь проникнемся важностью момента.

АДАМ. А что если я все-таки предложу вам здешнего молодого героя. Я сегодня впервые его увидел – сам влюбился. Славой зовут – Сла-вой, а? Он только что женился, приработок ищет, эдакаяю, как у вас, синекура с мордобоем ему подойдет. Для вашего бизнеса корректней исполнителья не придумаешь...

ЕВА. А вы все же дрейфите.

АДАМ. Обижаете! (*Собирается бежать.*) Но знаете, как -то аморально кривить душой: есть чужое, лукавить перед простаком. И потом эта профессиональная обработка фигуры – кулачками и ножками – пошлость, дурной вкус...

ЕВА. Поздно. Процесс пошел.

АДАМ. Я готов из последнего заплатить за два двойных, за десерт...

ЕВА. Вы не способны пострадать?

АДАМ. Добро бы за родину.

ЕВА. А за порядочную девушку? За ближнего?..

АДАМ. Пардон! В нашем случае порядочная девушка – понятие растяжимое. Если нужен первый, а был уже второй и третий, – как-то не по-христиански, Ева из ребра!

ЕВА. Тут правое дело, Адам из Эдема.

АДАМ. «Правое дело»? Покушение на дом площадью в гектар, да еще в Заречье!

ЕВА. Иномарки, загранвояжи, шестерки!..

АДАМ. И сережки! Сережки по десять тысяч в каждое ухе!! Не перебивать!.. А в это время православные переби-

ваются с просфоры на хлорную воду с нуклидами! Власти ночей недосыпают да все думают, думают, как бы продержаться у власти да приватизировать последнее народное имущество! А вы? Нет! Порох пыхнул, а ружье не стрелило, – как изрек протопоп Аввакум.

ЕВА (с металлом в голосе). Поздно!

АДАМ (оседая). Поясните.

ЕВА (надвигаясь). Всякое мое пояснение будет неполным. Вы не обратили внимание на тени за витражной дверью, не слышите шорохи?

АДАМ. Вы меня огорошили. Такое предложение, вот я... отключился.

ЕВА. Вполне возможно, что нас издали засняли на мобильный телефон и мы с вами где-то размножаемся... Не буквально, через Интернет. Боюсь, наши физиономии попадут на стол Крутому прежде, чем мы нанесем ему визит. Напоминаю, крутой – это не только статус моего желанного, но и его потомственная фамилия. Крутой!

АДАМ. Крутой Крутой?

ЕВА. Крутой-крутой-крутой!.. Молчим? Разумно.

АДАМ. Человек задумался. И в самых нецензурных выражениях прокликает день и час, когда искусился городом невест. О, Аллах! Добирался сюда с благими намерениями, лелеял мечту встретить дурочку с жилплощадью и дневным пропитанием, пока страна встанет на ножки и у театра появится спрос на художника сцены.

ЕВА. Благими намерениями устлана дорога – куда? И вам ли после этого рассуждать о высоком и прекрасном!

АДАМ. Вы сумасшедшая!

ЕВА. Досужие вымыслы. Я всего лишь социально активная.

АДАМ. Официантка Лина свидетельствовала, что вы здесь лечитесь. (Машет рукой.) Девушка! Лина!

(ЛИНА грациозно подходит. ЕВА тычет ей купюру – та уходит.)

Суду все ясно...

ЕВА. У вас суд на кончике языка постоянно.

АДАМ. Я постоянно рассматриваю свою жизнь, как она будет выглядеть в руках прокурора.

ЕВА. Хорошо!

АДАМ. Что же тут хорошего?

ЕВА. Ко всем недостаткам вы еще и припугнутый.

(У АДАМА смена настроения – он рассмеялся.)

Вам плохо?

АДАМ. Вы правда – Ева?

ЕВА. А вы – Адам?

АДАМ. Как же иначе назовете первого мужчину?

ЕВА. То-то, братец. Поэтому в паспорта друг друга заглядывать не станем. К делу!

АДАМ. К делу. Моя ставка – мое, как вы убедились, доброе имя, мое время, которое мне ой как нужно для обустройства... неизбежный мордобой. А ваша ставка?

ЕВА. М-м-м, процент в случае счастливого исхода.

АДАМ. А в случае фиаско? В случае моей инвалидности?

ЕВА. Если бы я могла платить кому-то по инвалидности, я вообще не впутывалась бы в эту авантюру. *(Слегка хнычет)* Я видела из засады, что это за вариант. Толстяк, залысины, наверное, одышка. Физиолог или биолог почти средних лет. Чокнутый на какой-то новой и дикой науке. Телегония называется. Телегония!

АДАМ. Телегония? Это что-то связанное с телевидением. Теле – далеко, а гнать – крутые все гонят. «Погнали,

пока не упали!» «Кореш, что ты гонишь?» При чем тут биология-зоология-физиология?

ЕВА. Телегония – это открытие моего избранника. Он исследовал домашних животных и пришел к выводу, что котята у кошки и кутята у собачки, как правило, редко похожи на последних маминых партнеров. Скорее всего, у серой самочки рождаются белые, рыжие, дымчатые малыши – наследие ее первого самца. Этот ученый крот и тупица докопался и перенес свою гипотезу на человечество. Его дети будут похожи на первого любовника его потенциальной супруги. Пока это была чистая теория – полбеда, горд спал спокойно. Но тут ему от бабушки из-за бугра подвалил миллион да еще семьсот двенадцать тысяч условных единиц наследства. Вы, творческий индивид с фантазией, вы – можете вообразить такую сумму?! И вот этот мудрец решил жениться. Выбирает даму сердца не по фейсу, а по первому ее партнеру. Хочет видеть, каким будет его наследник.

АДАМ. И город перестал спать вообще.

ЕВА. Во всяком случае, его лучшая, прекрасная половина. *(Хнычет больше.)*

АДАМ. Что ваш Крутой – шизик, это понятно. Но город? Хорош! Его лучшая, прекрасная половина – отнюдь не лучшая. Делаем три вдоха и намечаем перспективу.

ЕВА. Намечайте в темпе, мое время истекло.

АДАМ. Работаем за мой счет. Вопрос к вам. Зачем вам subtilный, олигофреничный, к тому же фальшивый первый? Предъявили бы настоящего.

ЕВА. С моим первым я не проходная.

АДАМ. Мозглячок, кривобок, шепеляв? Или депутат? Ну, вы даете, с депутатом связались. Извращенка!

ЕВА. Первый у меня был супермен. Артиста Хостикоева видели?

АДАМ. Ни фи́га себе!..

ЕВА. То-то. Смурной и тучный Крутой посмотрит на двойника Хостикоева и скажет: да она всю оставшуюся жизнь будет сохнуть по нему. Первый мой не пройдет, ни в коем случае.

(ЕВА плачет, АДАМ ходит кругами.)

АДАМ. Утешать вас, что ли? Учтите, вы плачете за мой счет. Прекратите! Давайте предъявим ему вашего второго. Идея?

ЕВА. Не в лоб так по лбу! Второй мой – старый иудей, доктор наук, седой, с пейсами и акцентом – развалина... *(Рыдает)*. А-а-а-а...

АДАМ. Чтоб я не чокнулся, поясните, как вы под него попали?

ЕВА. Э-э-э, как под транспорт на перекрестке. Поступала в университет... он был деканом... взятка...

АДАМ. Ай-я-яй! Проходной бал через взятку!

ЕВА. Можно подумать, что вы не поступали...

АДАМ. Поступал и кончал. Но у меня, на актерском, деканом была женщина.

ЕВА. Ну вот.

АДАМ. Но, но! Я сдавал целой комиссии.

ЕВА. Комиссии, наполовину состоящей из женщин?

АДАМ. Н-н-нет... да.

ЕВА. Никого так не жаль!

АДАМ. Я учился в благородном заведении!

ЕВА. А закончив, ринулись искать дурочку с жилплощадью и дневным пропитанием, пока вас не признают? Моралист, Аввакум. Порох пыхнул, а ружье не стрелило!

АДАМ. А вы мне нравитесь. Пальчик в рот положи – с локтем откусите. Согласен вас раскручивать. Успокоились. Значит, первый – атлет, супермен, плейбой. Второй – муд-

рый ребе, просветитель, учитель всего того, что накопило человечество на протяжении веков. А третий?

ЕВА. Третий – вы.

АДАМ. Ай эм сори... Виртуально?

ЕВА. Натурально.

АДАМ. Еще раз пардон. Разумеется, перед вами не святой Антоний, и малая коллекция прегрешений за нами водится. Но в числе юниц, снизошедших к нашей скромной персоне, таких, как вы, высоких духом и привольных телом, не числится. Лучше раскланяться.

(ЕВА ударяется в рыдание.)

Рад был познакомиться. Наше вам!

(АДАМ идет к двери. ЕВА – рыдает громче. Он оглядывается по сторонам, возвращается. Она смолкает. Мизансцена повторяется трижды.)

Кошмар по Фрейду! *(Садится рядом с нею)*. Мне все равно, где коротать время. *(Достает платок, подает девушке)*. Вы хорошая, красивая... Вы и плачете красиво... Если уж дано женщине обольщать, то даже гримасы ее чаруют... Ну, будет, будет. Иду к вам третьим женщиной.

ЕВА. Не ко мне, к Крутому.

АДАМ. К Крутому я не хочу. Я сам крутой. Пока вы тут фаловали меня в асваты, я проникся к вам самыми нежными чувствами. Вы способны на самые крутые повороты в жизни?

ЕВА. Вы о чем?

АДАМ. На кой черт вам какой-то пентюх с его миллионном семистами тысяч? Перед вами, я бы сказал, красивый и молодой человек, у которого достоинств куда больше, чем у миллионера.

ЕВА. Какие же это у него достоинства?

АДАМ. Ни кола, ни двора, одни штаны, а рубашек еще меньше. Зато сколько жажды жизни, веселья... перспективы! У Крутого уже все есть, нечего желать, не к чему стремиться, сиди, наживай жирок и жди старости. А тут надо вертеться, сунуть нос в неведомое и получать по носу, терять и находить.

ЕВА. Что же вы до сих пор ничего хорошего не нашли?

АДАМ. Как не нашел? Вот моя находка – ваш превосходный, всем кодром талантливый театр, ваш очаровательный город! А вы? Вы моя лучшая находка! Да никакому крутому Крутому я вас не отдам. Осяду в вашем театре, получу лачужку в общаге и – заберу вас туда...

ЕВА. У меня есть где жить...

АДАМ. Тем более! Уймите слезы. Жилье у вас есть, работу найдем. Вы только посмотрите, какой парень вам подвернулся! Да куда вы смотрите? На меня – вот он, подвернувшийся парень!

(Вертится меж стульев, пританцовывает.)

На кой черт вам становиться в очередь к замшелому, растолстевшему Крутому, если тут – плейбой, стройный, пластичный! А ума столько – на двоих хватит! А таланта! Да вдвоем мы заработаем на сухарь и воду, да мы черту рога свернем!.. Давайте веселиться. Хава нагила, как говорили древние евреи!

(Вступает старинный танец «Хава нагила». АДАМ увлекает ЕВУ в затейливый танец.)

З а т е м н е н и е . К о н е ц

В мире столько написано и опубликовано – зачем еще и Маляров писал? Чтобы познать мир, в котором жил. А познать зачем, ведь многие знания умножают печали. Ему нужна была опора. Он вырвался из нищеты и невежества и попал в область насилия и страха. Только изучив, осмыслив и назвав словами все, что происходило вокруг, можно примириться с жизнью.

Он примирился и продлил свой век. К тому же человеку захотелось помочь другим разглядеть, осмыслить и принять мир, в котором жили его современники. Авось они станут лучше.

Разумно ли, нет ли, но Маляров часто играл простачка, держался на уровне своего народа, припугнутого, сломленного коммунистическим режимом. Не всегда роль получалась, интеллектуалы держали его за своего и общаться с ним считали честью для себя. А народец похлопывал по плечу, то есть был уверен, что писатель глуповат, и удивлялся, что его печатают, издают. Счастье – читали его и те и другие, каждый находил мысли своего уровня. Коллега-поэт даже нашел у английского классика и заготовил эпиграф Малярову:

*Пусть на его напишут пьедестале:
«Грешил он много, но его читали».*

Я начал цитатами маэстро Малярова, позволю себе закончить его тайными и, на первый взгляд, странными убеждениями.

Старик считает, что

...задумываться над устройством мира, а конкретно – над глубинами космоса – не стоит, сойдешь с ума.

Женщины вовсе не хотят мужчин; уступают из уважения к их слабостям, из корысти, Бог знает еще отчего.

Кроме куска хлеба, чтобы не умереть с голоду, и хламиды, чтобы прикрыть срам, физическому мужчине вряд ли еще что-нибудь надо. А вот для его внутренней жизни и всего мира не хватит.

Закрытые пространства страшны не сами по себе, но своей похожестью на гроб.

Власть не от Бога, но от дьявола.

Ордена и почетные звания – побрякушки для папуасов, они унижают самодостаточного человека.

Писать о мастерах возвышенно и с придыханием – это клеветать на слабого и смертного человека, это – выставить грешника перед просвещенным миром в смешном виде.

Делать то, что хочется делать, то есть осуществлять свое предназначение, – высшая радость и путь к бессмертию.

Убеждения ли это, заблуждения ли – Бог судья. Только мастер пера живет со всем таким уже восемьдесят лет.

Літературно-художнє видання

ІВАНОВ
Олександр Кузьмич

ЗІ СПРАВЖНІМ
ВІРНО

Біографічна проза Малярова

Російською мовою

Формат 60x84¹/₁₆. Ум. друк. арк. 13,3. Тираж 150 пр. Зам. № 534-__.

В И Д А В Е Ц Ь І В И Г О Т О В Л Ю В А Ч

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ліон».

54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 1.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1506 від 25.09.2003 р.



О звездах эстрады говорят широко, о людях достатка – непомерно! И все о столичных особах. Профессор и писатель А. К. Иванов написал о земляке и коллеге, о человеке с неширокой известностью и малым достатком. Рассказал необычную, впрямь подлинную правду; снабдил книгу отрывками прозы и драмы своего персонажа. Получилось остро и занимательно. Читается увлеченно и с пользой.

